

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 27

1983



*Сергей ВОРОНИН*

## **РАСКОПЕЛЬСКИЕ КАМНИ**

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 27

---

Сергей ВОРОНИН

**РАСКОПЕЛЬСКИЕ  
КАМНИ**

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1983

## Сергей ВОРОНИН

*Сергей Алексеевич Воронин родился в 1913 году в городе Любиме Ярославской области. Живет с детских лет в Ленинграде. Окончил фабзавуч при Ленинградском Металлическом заводе. Работал токарем. Трудился восемь лет в различных изыскательских партиях по разведке новых трасс железных дорог. Побывал на Дальнем Востоке, Урале, Кавказе, на Волге.*

*Первая книга рассказов С. Воронина «Встречи» вышла в 1947 году. Основная тема романа «На своей земле», повестей «Ненужная слава», «Всего дороже», «Деревянные пяточки», «Отпуск в Кузёлево» — жизнь колхозного крестьянства. Мужественным, трудолюбивым изыскателям посвящен роман «Две жизни».*

*Сергей Воронин — автор многих сборников рассказов: «Дом напротив», «Среди жизни», «Серебряное пятно», «Солнечная долина», «В ожидании чуда», «Роман без любви», «Дом на бугре», «История одной поездки», «Стук в полночь», «Таежная развязка», «Единственная ночь» и других. В 1976 году Сергею Воронину за книгу «Родительский дом» присвоено звание лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького. Произведения С. Воронина изданы на тридцати языках.*

*Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. Ветеран труда. Член КПСС.*

## РАСКОПЕЛЬСКИЕ КАМНИ

Длинный, как у моря, песчаный берег. И выброшенные волной водоросли, и мертвые окуни, высохшие на солнце, и вороны, подбирающие падаль, и просмоленные остроносые лодки, как негры с кольцом в носу, притянутые к столбам. И тихие незабудки, растущие у края воды с весны и до студенной осени. И оторванные штормом от рыбацких сетей пожелтевшие поплавки из пенопласта... И ни души на всем берегу. И вечная, с белой пеной, с белой кипенью, с белым вихром, бегущая, неотвратимая, то крутая, то плоская чудская волна.

Ах, эта волна! Я ее видел в сотнях игрищ. Такую, которая лихо, за каких-нибудь полчаса, набирала свою бешеную силу и неслась по всему простору Чудского с шипением, полная плотной воды, вспыхивая и чернея на солнце. Она играючи вздымала лодку чуть ли не к небу — а по небу быстро, ряд за рядом шли тяжелые, рваные тучи, — и бросала ее вниз, в преисподнюю, так, что трещало днище и скрипели борта. Это было зрелище не для женщин и детей. Даже старые рыбаки, прожившие всю жизнь на Чудском, и те начинали, оглядываясь на небо, на его быстронесущиеся тучи, поспешно выбирать якоря.

Бывала волна и такой — это если ветер дул с запада и вода шла к нашему берегу и затопляла его, — когда прибой шумел и гудел по всему берегу в сплошной пенной полосе, и не вздумай тогда встать к волнобою бортом — захлестнет, опрокинет лодку, и слава богу, если сам выберешься, хотя на прибое воды всегда по циклолотку.

Поэтому, прежде чем отправиться на Раскопельские камни, не мешает послушать по радио прогноз погоды, но еще лучше узнать у местных, те предскажут получше всяких синоптиков, какая погода будет с утра, какая установится в полдень, что будет к вечеру.

«Ты вот гляди, — говорил мне местный рыбак, указывая на закат, — видишь два солнца? — Я глядел на закат. По всему озеру лежала мгlistая вытянутая полоса, прослоенная зелеными облаками, в их просветах два солнца в виде восьмерки. — Так это всегда к полной перемене. Если, скажем, был ветер, то станет тишь, а если сушь была — жди дождя».

В тот вечер было сухо, и Чудское не шевелилось, и ничто не предвещало ненастья, и все же на рассвете, слабо шелестя, начал шуршать мелкий дождь, и все небо было затянуто серым, и это значило в безветрии — дождь на весь день. То есть случилась полная перемена погоды.

После многодневных штормов, когда казалось, Чудское не успокоится вовеки, на закате появилось двойное солнце, и я наконец-то дождался затишья, такого, что брось спичку — и она ляжет на воду как впаянная. И то бортом, то носом проволочил лодку — ее выбросило, оборвав цепь, на отмель — до воды и направился к Раскопельским камням.

Мне давно хотелось побывать там. Наслышался от местных — крупный окунь только там в камнях водится. И пошел. К Раскопельским обычно ходят на моторах. Теперь почти у всех местных моторы. У кого «Москва», у кого «Вихрь». У меня мотора нет. Понимаю все его преимущества, но не люблю. Бензиновым чадом я больше чем надо дышу в городе. А тут непременно под ногами бачок, из которого прут бензиновые пары, тут нет-нет да обдаст отработанным газом. Зачем мне мотор? На веслах приятнее, если, конечно, на небольшое расстояние. До Раскопельских же камней что-то около двенадцати километров. Придется хорошо поработать, на полную отмашь плечей, на полный выход. Грести и грести. Часа три помахать веслами. Ну и что ж, раньше, до моторов, ходили на веслах, почему бы и мне не пройти путем старых рыбаков! Это, конечно, не «Кон-Тики», но все же интересно... Правда, моя лодка резко отличается от местных лодок. У меня «фофан», широкодонная, с низкими бортами. У местных же — борта высокие, днище узкое и задранный нос. Такая лодка, как у них, хорошо режет волну, ее не захлестнет. Но эти преимущества выгодны в бурю, а я выбрал тишь, и, судя по чистому небу, такая тишь постоит самое малое хотя бы сутки. А за день я успею обернуться.

Еще на берегу я не только запомнил, даже записал приметы для ориентировки, так что мне не составит большого труда найти Раскопельские камни. К тому же я еще издали увижу их. Камни есть камни. Мне не раз доводилось ходить к каменным грядам на Ладоге, когда еще за километр видны пенные буруны. Так что некоторый опыт имеется...

Об этом я думаю, все дальше уходя от берега. С севера на левый борт накатывает мягкий вал — это еще остатки прошедшего урагана. С запада же тянет легкий бриз и, хотя он слаб, все же рождает на таком большом пространстве свою волну. Поэтому лодка переваливается то по борту, то по носу. Местные такое состояние воды называют «водобежь».

На берегу чайки не было. Значит, она вся в море. Это удивительное зрелище, когда бьет чайка. Не одна, конечно, — сотни белых стремительных птиц вытес над одним местом, падают грудью, взмывают, орут. Это они хватают снетка. Плюхаются с разлету в воду, вырывают добычу и, тяжело махая крыльями, летят в сторону, и там разделяются с крупной рыбиной, покачиваясь на волне. Если же урвут мелочь, сглатывают ее на ходу.

Рыбалка «из-под чайки» азартна. Где чайка, там и окунь. Он тоже охотится за снетком. Рыщет большими стаями. Бывает средний, но наваливается и килограммовый, — тогда со звоном лопаются жилки, ломаются крючки, трещат можжевеловые удилища.

Из-под чайки начинают ловить в сентябре, когда окунь сбивается в стаи. Как правило, ловят его на «секушу». Это тяжелая блесна, свинчатка, с двумя острыми крючками. Говорят, такой способ недозволен, случаются сходы, появляется подранок. Но так испокон веков ловили местные. И окуня не становилось меньше. Поубавился он оттого, что одно время на Чудском ловили тралами, и, выпуская солярку и мазут, катера отравили воду, и стал погибать снеток. А он главный корм окуня. Но теперь тралом запретили ловить, и снеток стал прибывать, и окунь стал прибывать, хотя секушей и не перестали его ловить.

У меня есть секуша, и мне не терпится попробовать ее. Поэтому я и пошел на Раскопельские камни, подальше от домашней воды, туда, где вода дикая и простор, который местные называют морем. Там всегда полно окуня, того самого, который ломает крючки и рвет жилки.

Западный ветер сник, и водобезье исчезает, и все ниже, покатее валы, идущие с севера. Грести легко, и все дальше уходит берег с заводами, бухтами, мысами. Он вытягивается в прямую линию, и уже видна не только моя деревня, но и соседняя, хорошо видны силосные башни, они, как пожарные каланчи, возвышаются над аккуратными домиками и белыми фермами, и уже видны одинокие сосны на дюнах. И людей не различить. И все как бы застывает. И только движущийся по дороге клуб пыли нарушает застывшее — это бежит автобус.

Триангуляционная вышка давно выплыла за деревню, а это значит — километра на три я уже отошел от берега. Так далеко уходить мне еще не доводилось. Обычно я ловил в километре от дома на Глубоком — все ровное, ровное дно, и вдруг яма! Там неплохо ловится, и случается натаскать за утро целое ведро рыбы — окуней и «плотки», как здесь зовут плотву. И, конечно, можно бы вполне удовлетвориться такими уловами, но ведь есть же еще Раскопельские

камни, и вот я гребу туда в надежде поймать на секушу самого крупного окуня, чудесного Моби Дика. Такого, чтоб дома ахнули!

Сентябрь, а тепло. Небо чисто, и ничто не мешает светить солнцу. А где-то сейчас проливные осенние дожди, холодный ветер, рвущий последние остатки пожелтевшей листвы, где-то заморозки и уже, как грустное воспоминание, пролетевшее лето... Здесь же теплынь, как на юге. В грудь жаром бьет солнце, спину еле уловимо овеивает мягкий, теплый ветерок. Я снял куртку, рубаху и загораю...

Ага, вышка уже подошла к Захолмью. Все больше открывается земля, и я впервые вижу, какой низкий, безлесный наш берег. Старожилы рассказывали, что таким голым раньше он не был. Все война. И враг и свои рубили высоченные сосны. Они могучие, шумели на ветру, стояли сплошным ковром, и до деревни ветер почти не доходил, какой бы он силы ни был. А когда их срубили — местные на дрова, потому что не было лошадей возить из лесу, враг для дренажа дорог, — вместе с ветром к деревне пошли и пески, стали засыпать огороды, и вместо мягких трав на лугах взошли жесткие, без цветов, в чем-то сродни осоке, сухие, голые стебли с кинжальными листьями. И стали оседать дюны, стали все больше обнажаться корневища пней — ветер выдувал из них песок. И теперь по всему берегу торчат, как на лапах, старые пни. И если идти ночью, не зная, что это пни, неумудрено и напугаться, приняв их за чудищ.

Время от времени я смотрю через плечо, хотя и знаю: еще плыть и плыть, но это не удручает. Я люблю новые места и не перестаю удивляться тому, как их много на русской земле. И не перестаю с горечью думать о том, как мало еще повидал новых мест. Я даже начинаю себя убеждать в том, что жизнь человека меряется не только сделанным, но и увиденным... И вот едущ. Каждый отпуск на новое место. Так попал на Чудское, на котором никогда не бывал, и рад безмерно, что открыл для себя еще одно чудо русской земли, с мягкими песчаными берегами и с ласковой прогретой водой, и узнал людей, живущих у его воды, — жизнестойких потомков древних псковичей, и обрел для себя что-то нужное, и такое ощущение, будто я уплотнил время и к своему положенному жизненному пределу добавил еще этот чудесный сентябрь на Чудском...

Я гребу, равномерно взмахивая веслами. Лодка идет хорошо. Позади нее остается гладкая дорожка, окаймленная с двух сторон всплесками весел.

Берег совсем уже вытянулся в темную узкую полосу. Пора бы появиться и Раскопелским камням, но, сколько я ни вглядываюсь, ни камней, ни гряды не вижу. Вода, вода и вода... Теперь я уже совершенно один во всем просторе Чудского. Куда ни посмотрю — пусто. Небо огромно. И море огромно. И хотя перед этой громадой сознаешь всю свою малость, все же чувствуешь, что покоряешь ее, что с каждым взмахом весел она подчиняется...

Неожиданно откуда-то налетела мелкая и сухая, как песок, мошкара. Сыплет по ушам, по спине. Откуда она? Из воды, что ли? Я гляжу вперед — пора, пора бы появиться Раскопельским — и вижу далеко-далеко мгновенные вспышки белого. Чайки! Да, да, это чайки! Они бьют! И я откидываюсь всем телом, чтобы побольше был захват у весел, упираюсь ногами в колодку и гребу что есть силы вперед.

Как маленький горизонтальный штришок, не сразу, позднее, увидел я в том месте, где чайки, рыбацкую лодку. И теперь, уже уверенный, что до Раскопельских добрался, иду прямо на рыбаков. Гребу изо всех сил, боюсь опоздать. И уже со свистом вырывается дыхание. И к всплескам весел, к журчанию воды начинает подмешиваться стонущий крик чаек. Он нарастает все громче, яростней. Нет, никогда я еще не слышал такого гвалта, крика, стога! Так вот они какие, Раскопельские камни! Недаром мне о них так много говорили, не зря я сюда добирался. Тут, тут весь окунь! Чайки орут уже рядом. Весла брошены. И я с изумлением гляжу на рыбаков.

Как они рьяно работали, махая руками, намотывая жилку на локти и тут же сбрасывая в щепяные корзины тех самых килограммовых, которые ломают крючки и рвут жилки. Им было не до меня, и через минуту мне стало не до них, когда внизу, едва успела секуша коснуться дна, на нее повисло что-то тяжелое, словно чугунная гири. И казалось, уже жилка не выдержит, а в сердце заколотилась тревожная уверенность — вот он, вот он, окуневый Моби Дик! Но это не был Моби Дик, даже килограммовым не был. Попался средний, просто его засекло за брюхо, и он шел поперек воды. Но какая разница? Сердце-то билось, билось так, как если бы и на самом деле повисла громадина. Неужели весь интерес в добыче, что я, голодный, что ли? Есть нечего? Ощущение — вот что главное! И снова секуша летит на дно, и сразу же резкий толчок, я выбираю жилку и — о черт! — она путается, окунь сходит, и снова секуша устремляется вниз. Как хорошо, что она тяжелая, как легко она прорезает восьмиметровую толщу воды! На этот раз удача! Тот самый килограммовый схватил ртом свинчатку и теперь бьется, ворочается в ведре, а секуша снова летит на дно... И не до чаек — а они совсем рядом плюхаются в воду и чуть ли не у бортов вырывают снетка, — и не до рыбаков, и ни минуты покоя, и каждый раз при новом рывке замирает сердце, и каждый раз бьется в мозг: «Вот он! Вот он! Моби Дик, такой, что все ахнут! Не он! Не он!» И снова секуша простреливает глубину... Ах, эти Раскопельские камни! Вот что такое Раскопельские камни!

Сколько так продолжается — час, два? Тут время летит мимо — оно где-то там тянется как резина, а тут его нет. Мгновение. Одно только мгновение! Но солнце уже садится, и окунь отходит. И секуша у дна болтается в пустой воде. И только теперь я выпрямляю спину, оглядываюсь и вижу, как рыбаки сматывают жилки на коротенькие удильники.

— Закурить есть? — кричит один из них с темным, как его просмоленная лодка, лицом.

— Есть!

И они — трое — подгребаются ко мне, и тот, что спросил, аккуратно берет неразгибающимися пальцами три сигареты.

— Откуда? — вежливо интересуется он, оглядывая мою лодку.

— Из Кузёлева.

— Далеконько намахал.

— Да уж больно хвалили это место.

— Синцы-то? — удовлетворенно улыбается он.

— Какие Синцы? А разве здесь не Раскопельские камни? — удивленно говорю я и оглядываюсь.

— Ну, Раскопельские, они отсюда километрах в трех будут, — отвечает тот, с темным лицом, в то время как двое молодых посмеиваются.

— Дальше?

— Зачем? Прошел ты их.

— А что же я не видал?

— А их и не увидя. Они под водой... А чего тебе Раскопельские, и тут окуня взял добре. — Он смотрит на небо.

Солнце опускается в ровную однотонную мглу. Оно опять в виде восьмерки.

— Ладно мы управились седни, завтра, гляди, и в море не выйда, — говорит он. — А ты не очень поспедай, — это уже он советует мне, — через часок задует западный, в аккурат тебя пригоня к жилью. Это нам надо закругаться. До Низов часа полтора хода, не меньше...

Последние его слова глушит мотор. И лодка быстро уходит в сторону заката. Чаек нет. И уже нет двух солнц. Они опустились во мглу. И вода начинает темнеть. С запада явственно тянет ветерок. Он окрепнет. Через час станет сильным, погонит крутую волну. И по ветру, по волнам я легко дойду до своего берега. И я не спешу. Курю, гляжу, как медленно гаснут самые высокие, подсвеченные закатом, тонкие облака, и думаю о том, что сегодня мне здорово повезло — узнал еще одно новое место, и, пока не стемнело, запоминаю ориентиры, чтобы прийти сюда, на Синцы, в следующий раз.

## СЛУЧАЙ НА ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ

Все шло хорошо, отпуск дали в августе, самая рыбацкая и грибная пора, оставалось только попрощаться с начальником отдела.

— Ну что ж, желаю хорошо отдохнуть, набраться сил, — сказал Сангулов. Лет ему было под шестьдесят, но был он еще крепок и здоров. — На юг?

- Нет. На Чудское озеро.
- Бывали там?
- В прошлом году.
- Рыбалили?
- А как же! Там окуные. Иногда и по килограмму горбуна выворачивал, — не удержался, чтобы не похвастать, Елагин.
- Что ты говоришь? — оживился Сангулов. Он и не заметил, как перешел на «ты». — С берега?
- У меня «казанка».
- Слушай, а что, если я приеду к тебе денька на два, а?
- Так ведь у меня палатка.
- Ну, а какая-нибудь деревенька поблизости есть?
- Есть.
- Ну вот, я там и остановлюсь. Дай-ка адресок. Ни разу не бывал на Чудском. Сколько туда езды?
- По спидометру — двести девяносто.
- Ерунда. Мой шофер за три часа домчит. Так где это? Елагин сказал.
- Буду, не возражаешь?
- Да нет, почему же, — ответил Елагин, но настроение у него испортилось: он не терпел, когда в его жизнь вмешивались чужие. Но на другой день настроение улучшилось, — это когда он уже шелестел шинами по широкому шоссе, а еще через несколько дней и совсем наладилось. Мало ли о чем договариваются в городе!
- Но Сангулов приехал. Подкатил на «Волге» прямо к их палатке.
- Какого лешего я буду ездить из деревни, время терять! Я, брат, тоже обзавелся палаткой. Ну, не такой комфортабельной, как у тебя, мне такая ни к чему, но однако, — пожимая руки Елагину и Лиле, задористо говорил Сангулов. — Коля, ставь нашу палатку вот тут, — сказал он шоферу, высокому парню, еще не успевшему после армии отрастить длинные волосы. — Ну, как рыба?
- Неважно. Все время меняется ветер. Чаще бывает с востока. А то с севера задувает.
- Ничего. Заставим! Мы с Колей всю ночь выползков ловили. Должна на выползка взять. На Вуоксе вот тоже не было клева, а на выползка лещ брал. Да еще как! Ты-то на что ловишь? — Это он спросил, уже идя к лодке.
- «Казанка» стояла неподалеку от палатки, наполовину вытащенная на берег.
- Не очень-то люблю я дюральки. Гремят. Чуть тронешь веслом по борту — грохот... Правда, ни конопатить, ни шпаклевать не надо. Ну что ж, может, сейчас и выйдем? Чтoб не терять время.
- Тут с утра клюет, а по ночам никто не ловит. К тому же волна, — ответил Елагин.
- Ну какая это волна!

Но волна была. Дул северный, нагоняя белые барашки. Они шли по всему простору Чудского.

— К тому же и чайка на берегу,— добавил Елагин. Он с утра выходил на рыбалку, клевало плохо, и сейчас у него не было никакого желания идти на озеро.

— Ну и что, значит, рыба внизу,— не унимался Сангулов, деловито окидывая взглядом озерные дали.

— Чайка ходит по песку, нагоняет рыбаку тоску. Так говорят здесь рыбаки.

— А с берега если попробовать, на донку?

— Тут мелко, как на взморье.

— Ну, леший с ним! Тогда сегодня спать, а завтра в сечь, как говорил Тарас Бульба.— Сангулов пошел к своей палатке.— О, молодец солдат! Матрацы надул.

— Порядок,— ответил Коля.

— Тогда спать. Завтра чуть свет подыму! — крикнул Сангулов Елагину.

— Вот не было печали,— усмехаясь, сказал Елагин жене, усаживаясь на складной стульчик под навесом. Наступал час любования закатом.

— Не надо было звать,— сказала Лиля.— Уж очень ты добренький.

— Да нет, какой там добренький, просто пасую перед грубой силой,— ответил он и замолчал. Глядел, как темнеет вода, как все успокаивается, начинают светить звезды.

Он еще крепко спал, когда его разбудил громкий голос Сангулова, и тут же палатка заходила под ударами его ладони.

— Подъем! Подъем! — кричал он.— Всю рыбу проспишь, рыбак!

— Какой ужас! — натягивая одеяло на голову, прошептала Лиля.

— Извини, но я тут, ей-богу, ни при чем,— злым шепотом ответил Елагин, натягивая шерстяной свитер.

— Где мотор? — спросил Сангулов, как только Елагин вышел из палатки.

— В машине.

— Давай открывай. Утром, сам знаешь, каждая минута дорога.

Елагин, скрывая раздражение, достал мотор.

— Коля, забирай! — крикнул шоферу Сангулов и, прихватив бензиновый бак, быстрым шагом пошел к лодке.

Утро еще только подогревало небо. Над водой стояла мгла, но видимость все же была. Неподалеку от берега плескалась рыба,— похоже, окунь гонял малька. Сангулов метнулся к спиннингу и умело запустил блесну. Она далеко шлепнулась в воду. Подавшись вперед, напряженно замерев, он стал быстро подматывать шнур, то замедляя, то убыстряя ход блесны. Домотал до конца, плюнул и сказал:

— Извини, не удержался. Пошли, пошли!

— Успеем,— спокойно ответил Елагин.

— Где, к черту, успеем, когда уже скоро пять. Далеко до места идти?

— С полчаса.

— Ну вот, черт возьми-то!

— А чертыхаться не надо.

Сангулов остро взглянул на Елагина.

— Плохая примета? Не буду.— Он потянул лодку от берега.

Ему помогли Елагин с шофером, и через минуту они уже мчались, вспарывая гладкую тишь воды. То тут, то там всплескивала рыба. Сангулов возбужденно вертел головой. Он сидел на носу, надвинув на лоб курортку — тряпичную кепочку с зеленым пластмассовым козырьком и надпись над ним «Сочи».

Берег отодвигался все дальше, и теперь уже было видно, как у земли розовеет восток.

— А там что, гряда или яма? — крикнул Сангулов.

— Гряда. Камни! — перекрывая гул мотора, ответил Елагин. Он сидел на корме. Управлял мотором.

Сангулов удовлетворенно кивнул и стал привязывать к якорю веревку. Вережка была капроновая, тонкая, но очень прочная. Якорь небольшой, но цепкий.

— Молодец рыбачок! — крикнул Елагину Сангулов и снова завертел головой туда-сюда.

Озеро как бы расширилось во все стороны. Теперь уже берег был далеко. Так далеко, что даже и палатки не различить. На север не было конца воде, не было конца и на запад. И только на юг тянулась полоса берега.

«Казанка» шла ровно, чуть вздрагивая на увалах покатых волн. Ни чаек, ни уток — ничего не было на большой воде. Только изредка пролетали взявшиеся неведомо откуда бабочка или паут. Мягкий встречный от движения лодки ветер дул с ровной силой. И сразу же стал стихать, как только Елагин выключил мотор и лодка замедлила ход.

— Опускайте якорь,— сказал Елагин.

Сангулов аккуратно, чтобы не потревожить рыбу, опустил, и через минуту веревка натянулась, поставив лодку по ветру, слабо веявшему с запада.

Размотали удочки и стали ловить. Клевать начало тут же, будто рыба ждала их. И все пошли хорошие окуни, граммов по полтораста, на двести. Сангулов горячился, и раза два жилка у него запутывалась. «Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Вот не вовремя-то!» — сожалеюще приговаривал он, распутывая ее. И каждый раз косил глазом, когда соседи

вытаскивали рыбину. И не так досадовал, если окунь был невелик. Но потом и у него наладилось. Он ловил на поплавочную, хотя в этих местах восьмиметровая глубина и ловили здесь на отвесные с тяжелым грузом и коротким удилицем. Коля ловил молча, не выражая ни восторга, если попадал хороший окунь, ни досады, если срывался. Было похоже, что он не рыбачок и ловил только потому, что больше в лодке ему делать нечего. Ему бы, конечно, куда интереснее остаться в городе — там ребята, свои дела, но начальник попросил — как откажешь, и вот он здесь, рыбалит.

Елагин был доволен, и не столько тем, что хорошо ловилось, как тем, что не посрамил себя в глазах Сангулова, по всему судя, заядлого рыбака.

Так они ловили часов до десяти, потом клев резко оборвался. — Все, — сказал Елагин, — конец.

— Ну да, просто у них производственное совещание, через полчаса снова возьмутся за работу. Посидим еще, — сказал Сангулов.

Но не клевало. Только изредка тормошил насадку ерш.

— Да, когда приходит «комендант», значит, сматывай удочки, — снимая с крючка ерша, со вздохом сказал Сангулов. — Придется отчаливать. А жаль, хороша рыбалка.

— Завтра еще половим, — сказал Елагин.

— Завтра есть завтра, последний день, — вытаскивая якорь, ответил Сангулов. — А может, еще посидим?

— Бесполезно.

— А ты чего, Коля, молчишь? — с улыбкой взглянув на шофера, сказал Сангулов. — Молодой, а молчун. Чего не поддерживаешь?

— А мне все равно. Как хотите, — стеснительно улыбнулся Коля.

— О, видали? Ему все равно! Какой же ты рыбак?

— Так я и не рыбак.

— Рассказывай. А кто на Вуоксе лещей таскал, а? — Сангулов положил якорь в лодку. — Можно трогать.

— Хотите, я сяду на мотор? — сказал Коля.

— Садись, — ответил Елагин.

Они поменялись местами. Коля дернул шнур, и лодка понеслась к берегу.

И как только пристали, Сангулов сразу же принялся за уху.

— Настоящий рыбак никогда для ухи не счищает с окуня чешую. Выпотрошить, вырвать жабры — и в котел. Это уж верьте мне. Коля, тащи сюда перец. И лаврушку прихвати. Они там в банке.

Когда уха была готова и разлита по тарелкам, Елагин предложил выпить по рюмке.

— Ну, если только по рюмке. Отец не пил и мне не велел. К тому же она вкус отбивает, — сказал Сангулов, но все же выпил и стал

с удовольствием хлебать уху, нахваливая и окуней, и Лилию, и себя за то, что такая славная получилась уха.— Да, вот ради такого дня стоит жить. Не так ли, Лидия Павловна?

— Возможно,— деликатно ответила Лилия. Она хорошо выспалась и не сердилась.

Коля скосил на нее глаза. Была она в шортах, длинноногая, в безрукавной кофточке, большеглазая, с тонкой шеей. Он отвел взгляд и решил: «Если женюсь, то обязательно только на такой».

Сангулов, глядя на Лилию, ничего не думал, после ухи его тянуло спать, и он завалился. Да и в самом деле, чего еще надо! Встал рано, надышался отличным воздухом, наелся отменной ухи, почему бы и не прижать ухом подушку. Он уснул быстро, как младенец. Елагин тоже решил вздремнуть и забрался к себе в палатку. Лилия вытащила надувной матрасик, легла на спину и стала загорать. На лице у нее были защитные очки с белым наносником. Коля украдкой взглянул на ее длинные ноги и, еще раз решив жениться только на такой, пошел к воде, чтобы не подумали, что он подсматривает за Лилей. Больше всего, как ни странно, он боялся, чтобы не подумала сама Лилия. Он был очень стеснительный малый.

Было четыре пополуноди, когда Сангулов, распаренный, словно после бани, вылез из палатки. Он тут же сбросил майку и в синих, до колен трусах, которые называют «семейными», побежал к озеру. И там с разлету плюхнулся в воду и стал ворочаться, как морж, крикая от наслаждения.

— Коля, иди! — закричал он шоферу.— Не вода, а бархат.

Коля все это время гулял по берегу. Он ушел далеко, пристально разглядывая всякий выброшенный волной мусор, и теперь возвращался, неся в кармане несколько мелких ракушек и кусок пенопласта, оторванный от рыбачьей сети. Увидя Сангулова, он быстро сбросил техасы и побежал к нему, стройный, еще младенчески чистый, в красивых плавках, туго охватывавших его узкий таз.

Вышел из палатки и Елагин, схватил Лилию за руку и тоже побежал купаться. Смесь и крича, они влетели в воду, разбрызгивая ее во все стороны, и, когда достигли глубины, поплыли в открытый простор.

— Ничего живет, красиво,— сказал Сангулов и подумал о том, что сам он в молодости воевал, был дважды ранен, и потом, после войны, было трудно.— Так бы и тебе, Коля, жить, как он, а? Не возражаешь?

Но Коля уже не было рядом. Он шел к дюнам поваляться на песке. Через полчаса сидели, пили чай. И вдруг Сангулов вскочил:

— Какого дьявола время зря теряем! Поехали рыбалить! Не может быть, чтобы в такой вечер не брала рыба. Ну, а если не будет, мотанем обратно. Великое дело — бензин. Я отдам.

— Да разве в этом дело,— сказал Елагин.— Хватит, порыбалили. Мы же сюда приехали отдыхать.

— А рыбалка не отдых? Можешь сидеть в середке, Коля сядет на мотор. Так, Коля?

Коля застенчиво улыбнулся.

Елагин посмотрел на небо. Далеко на севере, у самого горизонта темнела растянутая туча.

— Вон туча идет,— сказал он.

— А, ерунда. Она там как приклеенная. Давайте, давайте! Не верю, чтобы на вечерней зорьке не клевало.— И, не дожидаясь, когда встанут остальные, направился к лодке.

Елагин взглянул на Лилю, передернул плечом, как бы говоря: ну что тут поделаешь, и пошел за удочками. Коля стал наполнять бензином бачок.

— Все же, может, ты не поедешь? — сказала Лиля, входя в палатку.— Пусть едут одни.

— Да нет, мало ли что может случиться. Съезжу. А завтра они уедут. Так что ничего... Ладно...

На озере было тихо. Туча по-прежнему лежала у края воды. Ничто не предвещало перемены погоды. Только чайки сидели на отмелях, поджав под себя ноги, да изредка то одна, то другая переходила, меняя место.

— Наелись, вот и погуливают,— сказал про них Сангулов.

— Днем-то их не было.

Верно, днем их не было.

Через полчаса они уже стояли на утреннем месте и ловили. Клевало, и ничуть не хуже, чем утром.

— Ну, а я что говорил!— ликовал Сангулов.— Не может такого быть, чтобы на вечерней зорьке не брало. Верно, Коля?

Коля стеснительно повел плечом и посмотрел на небо. Туча, которая была так далеко, теперь неожиданно быстро приближалась, словно черными крыльями захватив полнеба.

— Туча идет,— сказал он.

Елагин взглянул на небо.

— Действительно, надо уходить.

— Да ну, ерунда,— ответил Сангулов, бросив косой взгляд на тучу.— Пройдет.— Теперь у него была такая же, как и у Елагина, короткая удочка, жилка не путалась, и он еле успевал вытаскивать окуней.

— Нет, надо уходить,— сказал Елагин.— Она идет к нам. Доставайте якорь.

Сангулов внимательнее посмотрел на небо.

— Еще минут пятнадцать можно смело ловить, а потом пойдем.

— Да хватит рыбы, куда нам больше,— глядя на загруженную до половины окунем корзину, сказал Елагин.— Всю не переловишь.

— Тебе хорошо так говорить, а нам завтра ту-ту,— освобождая от крючка здорового окуня, с досадой ответил Сангулов.

Ветер налетел внезапно. Сорвал с головы Елагина соломенную шляпу и отшвырнул ее метров на десять.

— Вытаскивай якорь!— зло крикнул Елагин и стал быстро сматывать удочки.

— Ну-ну, без паники,— быстро выбирая жилку и выхватывая окуня, сказал Сангулов.— Не обстрелянные еще...— Но сам все же посмотрел на тучу и на озеро. Оно почернело, и от этого белые гребни крутых волн казались пенными вспышками.— Действительно, дьявольщина какая-то...

Елагин не стал дожидаться, пока Сангулов сматывает удочку: перетянулся к носу, ухватил веревку и стал выбирать ее. Лодка, плюхая, тяжело шла против волны и ветра. А волна уже набирала силу. На Чудском она быстро растет. С каждой минутой все выше. А ветер все резче. И теперь она уже была побольше метра.

— Включай мотор!— крикнул Елагин, втаскивая якорь, жалея, что не он сидит у руля.

Коля дернул шнур. Мотор с первого же захода взревел, и тут же лодка понеслась по ветру, по волне, к южному берегу.

— К дому, к нашему берегу заворачивай!— закричал Елагин.

Коля резко, до полного развернул руль, так что лодка стала бортом к волне, и в ту же секунду ее подняло, опрокинуло, и все трое оказались в воде. Это случилось мгновенно, никто не успел даже вскрикнуть. Елагин вынырнул и увидел «казанку» метрах в трех от себя — она стояла в прежнем положении. Видимо, ее еще раз перевернуло, возможно, под тяжестью мотора. В два-три маха он достиг ее и увидел перепуганного Колю. Тот обеими руками держался за носовой штырь. Отфыркиваясь, подплыл к ним Сангулов. И тоже ухватился за лодку. Их несло, подымало, перекатывало с волны на волну. Ветер уже не казался таким сверепым. Он гнал их к берегу. Хотя до него было далеко, километра три.

— Коля, влезай в лодку, будешь пригоршнями выбрасывать!— крикнул Сангулов.

В «казанке» было до половины воды.

Коля тут же стал взбираться на борт. От этого вода в лодке хлынула в его сторону, борт накренился, и в лодку плюхнулась волна. «Казанка» еще больше осела.

— Слезай!— крикнул Елагин.

Коля сполз в лодку, но тут сработал якорь. Он вывалился, веревка разматалась, и теперь он держал лодку.

«Это еще хуже,— подумал Елагин,— так бы ее донесло до берега, а теперь она затонет. Ее зальет. И не найдешь». Он еще не осознал до конца, что произошло.

— Все, ребята!— крикнул Сангулов.— Давайте прощаться, и к берегу!

И в самом деле, теперь у лодки делать было нечего. Еще какое-то время она продержится на поверхности, а потом ее зальет. Так что лучше уж теперь, пока есть силы.

— Прощайте, ребята! Если что, не очень сердитесь на меня, Елагин! Прощай, Коля! Может, и не доберусь, так что не поминайте лихом. Счастливо вам жить!— И Сангулов оттолкнулся от лодки.

Елагин помедлил, о чем-то думая, чертыхнулся и двинул за ним.

— Не бросайте меня!— вдруг донесся до них отчаянный Колин голос.— Я не умею плавать!

Это прозвучало так неожиданно, что они проплыли еще несколько метров, пока до их сознания дошла новая беда. Не сговариваясь, даже не взглянув друг на друга, и Елагин и Сангулов поплыли обратно.

— Возьмем его!— крикнул Сангулов, но, видимо, тут же понял, что из этого ничего не выйдет. До берега далеко, не хватит сил тащить его на себе, и тогда он принял другое решение:— Я с ним останусь!— Он ухватился за нос лодки.— А ты быстрее к берегу, чтоб помогли нам! Давай!— И стал перебираться по борту к Николаю.

Но Елагин не мог вот так сразу оставить их, что-то не позволяло их бросить, но и задерживаться у лодки не имело смысла. Вода, которая была в «казанке», на каждой волне тяжело перекачивалась то из носа в корму, то с кормы в нос, и тогда новая вода вливалась в лодку.

— Да плыви же ты!— остервенело крикнул Сангулов.— Я не брошу его! Плыви!

И Елагин, еще не осознав того, что Сангулов, отпуская его, спасает ему жизнь, поплыл к берегу. Плавал он средне, но и волной и ветром помогало, и он стал быстро отдаляться от лодки.

Стемнело, и южного берега уже не было видно. Даже лесного холма, который местные называли «городище». И от этого Елагину стало тревожно, и уже закрадывался страх, что он не доплывет. Но он внушал себе, что сил у него хватит, а волна и ветер не дадут ему сбиться с пути. И он плыл в темноте, и волны то поднимали его, то опускали. Как-то он захотел было посмотреть на оставшихся, но на него налетела волна, он чуть не захлебнулся. И больше не оборачивался.

Так плыл он долго и уже стал уставать. В спокойной воде он умел отдыхать, лежа на спине, не двигая ни руками, ни ногами, но сейчас ничего не получилось. Он сразу стал тонуть. И тут его охватило отчаяние. «Боже мой, неужели я утону? Утону, и все... и вся жизнь!.. Господи, и ничего не видно!»

Было уже совсем темно. Даже в трех метрах от себя ничего нельзя было различить. И тогда он стал прощаться, чувствуя, как силы

покидают его. Он прощался со всем, что было ему дорого, прощался с самой жизнью и готов был уже утонуть, как вдруг словно кто-то рядом сказал ему: «Встань!» И он встал и ощутил под ногами твердое дно. Его толкнуло в спину волной, но он устоял. И пошел к берегу. Шел, и плакал, и смеялся, не веря, что остался жив.

Вначале ему было по пояс, но с каждым шагом становилось все мельче. Он миновал редкие тростники и увидел в стороне мелькнувший огонек. Огонек появлялся и пропадал — это оттого, что его закрывало кустами. Ветер не стихал, и кусты то пригибались к земле, то вырывались из-под ветра, закрывая чье-то освещенное окно.

Он дошел до него. Постучал. И тут же обессиленно опустился на лавку.

Дальше все было как во сне. Кто-то помог ему войти в дом, кто-то стал раздевать, а Елагин, то смеясь, то плача, все говорил, чтобы скорееплыли к Сангулову и Коле.

— Они там, на Раскопельских камнях... Только быстрее. Один из них не умеет плавать. А в «казанке» уже много воды... только быстрее.

Но выходить в Чудское нечего было и думать. Ветер дул с прежней яростной силой. И оставалось только одно: ходить по берегу с фонарями, махать ими, оповещая тех, кто, может, плывет к ним.

Всю ночь светили фонари, раскачиваясь во мраке. Ветер не утихал, но к утру сник, и озеро постепенно успокоилось.

На его глади ничего не было. Чистое, ровное пространство. К этому времени не осталось никого и на берегу. Все разошлись по домам. И только один Елагин не уходил, все еще надеялся: может, покажутся, может, идут берегом...

1977

## РЕПЕЙ

В деревне Сергей Дмитриевич никогда не бывал, с деревенскими людьми никогда не встречался и поэтому, попав в Кузёлево, на многое смотрел с любопытством и удивлением.

Живя в городе, он даже не знал всех жильцов по лестничной клетке. Больше того, никогда ни с кем из соседей не здоровался. Тут же все друг друга знали. При встрече останавливались посреди дороги и начинали вести неторопливый разговор, на полчаса, а то и на час, не обращая внимания на пыль, которой их обдавали проносившиеся машины. В городе жил народ нервный, вечнс куда-то спешащий, тут же — неторопливый. По крайней мере он ни разу не увидел быстро шагнувшего человека, а тем более бегущего. В городе до него никому

дела не было, тут же на него обращали внимание. Могли остановиться и бесцеремонно разглядывать. А то и спрашивали: чей, откуда? И ему приходилось объяснять, что привезла его невестка, чтобы познакомиться он с ее матерью Авдотьей Никитичной Савельевой. Что сам он из города, чертежник, но теперь уже на пенсии.

— А что же ты один-то, без бабы?

— Работает, не смогла.

— Молодая еще, коли работает.

— Ну не так чтобы, но все же, на семь лет моложе, — мягко улыбаясь, отвечал Сергей Дмитриевич.

О том, что он приехал, узнали в деревне за один час. Особенно заинтересовались старухи. Но и старики любопытствовали. Правда, больше поглядывали, ждали, когда приезжий сам заговорит о себе. Только один из них — Репей — еще издали стал кланяться.

— Здравствуйте, здравствуйте, — приветливо ответил ему Сергей Дмитриевич и предложил закурить.

— Не-ет, не балуюсь, да и тебе не советую, — ответил Репей. — Зачем же сознательно вносить в себя отраву?

— Привычка. Больше сорока лет курю.

— Эва, табачищу-то выжрал! Видно, от рака легких хочешь умереть?

— Да нет, зачем же.

— А если не хошь, тогда слушай меня. Научу, как бросить. Значит, так. — Репей строго взглянул на Сергея Дмитриевича утонувшими в морщинах голубыми глазами. — Начинаешь с того...

— Да нет, что вы... Я не собираюсь бросать.

— Как же не собираешься, когда не хочешь умирать от рака. Или хочешь?

— Да нет, что вы...

— Ну, тогда слушай. Вся суть в том, что ты внушаешь себе: «Я не хочу курить!» Ложись спать, говоришь себе: «Я не хочу курить!» А сам кури. Затягивайся и думай: «Я не хочу курить! Мне противно курить. Меня тошнит от табачища!» Понял? Я тут многих от курева отучил. Благодарили. Долго ль думаешь у нас пожить?

— С неделю.

— Ну что ж, и много и мало. Смотря чего делать. Но для начала годится. Вот, давай закуривай. Давай, давай!

— Да я сейчас не хочу, — засмеялся Сергей Дмитриевич, глядя мягко, даже с умилением на этого старичка, седенького, сухого и маленького, как подросток.

— Тем более. Давай закуривай! — хорохорился Репей.

Сергей Дмитриевич достал сигарету, закурил.

— Давай, давай, затягивайся глубже и внушай себе: «Мне курить неохота. Меня тошнит от табачища!» Внушаешь?

— Внушаю,— улыбнулся Сергей Дмитриевич.

— Ну вот, давай внушай. Каждый раз, как будешь затыгиваться, так и внушай. Неделя не пройдет, как бросишь. Опротивеет донельзя. А выпиваешь?

— Понемногу.

— Чего больше, белое или красное? Или желтое?

— Что за «желтое»?

— Коньяк. Употребляешь его?

— Предпочитаю водку.

— Ага. Тогда идем.

И Репей повел Сергея Дмитриевича, да так быстро, что тот еле поспевал за ним. Спросить бы, куда ведет, да как-то неудобно было. Как неудобно было и отстать от него, вернуться домой. А Репей шел не оглядываясь, уверенный, что никуда приезжий от него не денется. Легонький, сухонький, беленький, как одуванчик, он просто летел вперед.

И долетел до магазина.

— Сейчас узнаем,— таинственно сообщил Репей.— Случается, что и не всегда она бывает. Перебои, как в сердце. Будем надеяться.— Он взбежал по ступенькам, открыл на полный запах дверь и вежливо пропустил вперед Сергея Дмитриевича.

В магазине никого не было, кроме продавца, хромого, не старого еще мужчины в белой куртке и черных замасленных штанах.

— Ага, вона она!— радостно воскликнул Репей и ткнул пальцем в верхнюю полку. Она была вся заставлена бутылками разных вин, и на боку каждой блистала маленькая электрическая лампочка, отражая большую, подвешенную к потолку. Окно в магазине было одно, да к тому же еще и маленькое, поэтому всегда горел электрический свет.— Дай-ка нам «Российскую»,— сказал он продавцу. Тот, хромая, метнулся к полке.— Рассчитывайся!— взглянул Репей на Сергея Дмитриевича. И тому ничего не оставалось делать, как достать кошелек и заплатить за бутылку.

— Теперь прошу ко мне,— сказал Репей и легко сбежал со ступенек.

— Но я...— замялся Сергей Дмитриевич.

— Ничего, ничего, не стесняйся. Капустка, брусника моченая, а чего еще надо? Для знакомства выпьем, посидим. На что у меня старуха строга, но для такого случая слова не пикнет. Она, когда надо, тоже с понятием.

— Да нет, дело не в этом. Я не хочу.

— Как не хочешь? Ты ж сам сказал, что белое употребляешь?

— Это верно, но почему сейчас-то?

— А когда хотел?

— Да я вообще не хотел.

— А тогда чего ж покупал? Чего это у тебя такой неустойчивый характер? То хочу, то не хочу. Чать не маленький. Идем, идем!

Сергею Дмитриевичу ничего не оставалось, как последовать за Репеем.

— Во, Ксюша, глянь, кто к нам пришел,— сказал Репей жене, как только вошел в дом.

Старуха посмотрела и улыбнулась, от чего все ее лицо сморщилось, словно она собралась заплакать.

— Вот, значит, какой свекор у Авдотьи Никитичны! Вот кого ей бог послал. Ну что ж, можа, и ничего. Заранее-то как в душу влезешь,— сказала она.

— Ну, я ж говорил — обрадуется. Вишь, как льстит,— ставя бутылку на стол, сказал Репей.— Теперь можно и к главному приступить. Ты бы, мамашка, чего на стол из закуски сообразила да выпила с нами. Коли пришел гость, так надо угостить его.

— Чего ж это я поставлю? Если капустки да грибов?

— Неужели ты еще грибы сохранила? — удивился Репей и победно взглянул на Сергея Дмитриевича.

— А как же, есть, есть в подполе. Консерву делала, так как же не сохраниться. Слазай-ко.

Репей тут же откинул крышку и прыгнул в подпол. Через минуту, улыбающийся, высунул голову и поставил на пол банку с грибами.

— Дай-ка руку,— сказал он Сергею Дмитриевичу и, когда тот подал, ухватился за нее и вывалился на пол.— Боровики, — открывая банку, гордо сказал он.— Один к одному беляньки. Я тут такие места знаю, что в любой год завсегда с грибами. Мамашка, нет ли картошин вареных? Они к грибам с маслом-то больно вкусны!

Старуха достала из чугуна несколько нечищенных картофелин, положила на щербатую тарелку.

— Вы уж тут каждый сам себе чисти,— сказала она и спросила Сергея Дмитриевича: — Хорошо ли приняла тебя Авдотья? Поди, куру забила?

— Нет, ведь мы с собой кое-чего привезли. Своего хватало,— ответил Сергей Дмитриевич, принимая из рук Репея стопку с водкой.

— Так что, и куру не забила? — удивилась старуха.

— Нет.

— Ай-яй-яй! — засмеялся Репей.— Вот вся она тут, Авдотья!

И старуха засмеялась, причем как-то по-куриному: «Ко-ко-ко-ко!» А Репей еще больше зашелся в смехе.

— Ну, давай теперича выпьем за личное знакомство и такое же благополучие,— вытирая слезу, успокаиваясь, сказал он.

Выпили.

— Нюска-то была девчущка справная у нее. Тут ничего не скажешь. Правда, сбежала с колхозу, ну дак не она первая. Дорожка-то была уж протоптана. Значит, невестка тебе она, — очищая ногтем от кожуры картофелину, сказал Репей.

— Да, славная девущка, — ответил Сергей Дмитриевич.

— Знаем ее, знаем, — вяло махнула рукой старуха, и не понять было, хорошо это или плохо.

— Ну, а ты интересовался у Нюски, кто ее родители были, с чем пироги ели? — спросил Репей.

— Да особенно-то не расспрашивал. А что?

— Да ничего. Так, к примеру спросил. Ведь они, люди-то, каждый на свой манер. Кто ртом, кто носом дышит. Мамашка, помнишь, у нас Климов жил? Куда тебе как честный. А на поверку вышло? То-то и оно. Тут, брат, тоже надо, чтоб ухо было открыто, а не заросши волосом.

— Вы какими-то намеками говорите, — сказал Сергей Дмитриевич. — Разъясните, если можно.

— А чего ясней? Я ничего не сказывал. А если тебе про Климова, так что ж, он человек пришлый был у нас. Об этом вся деревня знает. Пожил с год и уехал. Это уж потом выяснилось, что он тут с двумя бабами путался, — как-то нехотя ответил Репей и налил еще по стопке. — Тебе-то наливать ли? — спросил он старуху.

— Налей, — разрешила она. — Для соблазну выпью.

Репей налил.

— Да, брат, ну и что же? Где спал-ночевал? — спросил он.

— А что? — уже настораживаясь, сказал Сергей Дмитриевич.

— Где она уложила-то тебя?

— В первой комнате.

— А молодые?

— Во второй.

— А сама?

— Этого я не знаю.

— Да ведь больше спать-то и негде там! — выкрикнул Репей и зашелся в смехе. И старуха закококала так, что даже плечи ходунном заходили.

— Я не совсем понимаю, — в недоумении сказал Сергей Дмитриевич.

— И ладно, что не понимаешь, если правду говоришь. Как ни летала, а перья все целы, — ответил Репей.

— Это к чему вы?

— А так, народная мудрость.

Бутылка подошла к концу. Старуха убрала стопки. Репей сдвинул на угол тарелки с недоеденной закуской, ударил ладонь о ладонь, как бы говоря: «Дело сделано!»

— Сегодня московское «Динамо» с киевским. Ты за кого болеешь? — спросил он.

— Ни за кого.

— А чего такой отсталый?

— Да просто не увлекаюсь.

— Тогда понятно, — засмеялся Репей. — Бывают такие люди. Моя вот тоже не болеет, так зато у нее и зубов нету. А у меня все сохранивши. Во, смотри какие! — Он распахнул рот, полный стершихся, но еще крепких зубов. — Захочу, резину сжую.

— Можно у вас закурить? — спросил Сергей Дмитриевич. Он давно уже томился без курева.

— Э, нет. Потом этот табачище за три дня не выветришь. На улице покуришь. Только не забывай — каждый раз, как будешь затягиваться, так тут же внушай себе: «Я не хочу курить. Мне противно. Тошно!» Вот, пойдем-ка, пойдем на улицу. Я погляжу, как ты будешь теперь курить. Пойдем! — Он шустро вскочил, поманил рукой Сергея Дмитриевича и открыл дверь в сенцы.

— Спасибо, — сказал Сергей Дмитриевич старухе.

— На здоровье, батюшко, на здоровье. Поел, и ладно.

На улице был уже предвечерний час. Шли коровы, медленно, вразвалку, неся тяжелое вымя. Перебегая с края на край дороги, метались овцы. Коровы мычали, овцы орали страшными голосами.

— Личное хозяйство, — пояснил Репей. — Пережитки.

— А у вас нет ни коровы, ни овцы? — спросил нехотя Сергей Дмитриевич только ради вежливости. Ему почему-то было не по себе, словно он допустил где-то ошибку.

Репей взглянул на него.

— А ты чего ж, затягиваешься, а, похоже, не внушаешь себе, отвлекаешься? О, смотри, твоя новая родня — теща объявилась. За коровой вышла. Яловая у нее корова-то в нынешнем году, яловая. Два раза водила к осеменителю, а ничего не вышло. Зажирела, должно быть. Ну, покедова. Заходи, если что. Путь невелик. Побеседуем. Я тебе еще чего расскажу.

Сергей Дмитриевич поблагодарил его и направился к матери невестки. Авдотья Никитична выжидательно смотрела на него, скамливая корове ломоть хлеба.

— Куда ж это ты запропастился, Сергей Дмитриевич? — сказала она.

— Да вот, познакомился с интересным человеком, — ответил он.

— Это с каким же таким интересным?

— А вот имени-отчества и не спросил... Он стоял сейчас со мной.

— А, Репей-то... Нашел тоже, с кем знакомство заводить.

— А что, или он нехороший человек?

— А за что бы хорошего прозвали Репьем? Чего хоть поговорили-то? — Она уже шла за коровой, погоняя ее ко двору.

— Да так, собственно, ни о чем.

— Стоило время терять. А мы ждем-пождем. Куда запропал? Обедать надо, а тебя нету. Голодный поди-ка? — Авдотья Никитична разговаривала, и в голосе у нее скользило недовольство поведением дорогого гостя.

— Да нет, выпили немного, закусили.

— Чем же таким там тебя угощали?

— Грибы поставили, картофель.

— Да уж, у них не разбежишься. Не ты ли вино-то купил?

— Я.

— А хоть бы и сказал, что не ты, ни в жизнь бы не поверила. Еще не было такого человека, которого бы Репей угостил, да не ославил. Подожди, еще и о себе услышишь.

Ждать пришлось недолго. Через какой-то час к Авдотье Никитичне прибежала соседка и что-то с жаром стала ей рассказывать вполголоса на кухне.

— Ну вот, с чем и поздравляю тебя, дорогой гостюшко,— дрогнувшим голосом сказала Авдотья Никитична, как только соседка ушла.— Вся уж деревня только и говорит, что тебя морю голодом. Что уж ел ты у них, ел, еле наелся. Что я и куру-то дорогим гостям пожалела. Чего это ты там наговорил-то?

— Я этого ничего не говорил,— в растерянности ответил Сергей Дмитриевич.

— Да нет, чего-то говорил. Дыма без огня не бывает. Иначе как бы пошло? Да еще интересовался, кто мы такие, что за люди с мужем были. Зачем тебе у чужих-то спрашивать? Спроси у меня, все скажу. Или не поверишь? — Она неожиданно заплакала.— Чем уж таким я показалась нехорошей? Что куру-то не заколола в первый день, так сам знаешь, сколько еды навезли. А сегодня вон она, кура-то, с лапшой ее сделала. Ел бы, чем по чужим домам слоняться.

— Да ведь я и не хотел. Уж как-то так получилось, что он пригласил меня...

— Нехорошо, нехорошо, дорогой гостюшко. Не так близкие да родные люди поступают. Не успел оглядеться, и вон уж сколько разговоров...

Пришли из клуба сын с невесткой. Сын встревоженно посмотрел на тещу, увидев в ее руке платок. На отца посмотрел.— Что это у вас тут происходит? — спросил он.

— Да так, ничего, вспомнили...— вздохнув, сказала Авдотья Никитична.

— Папа, на пару слов выйдем,— сказал сын Сергею Дмитриевичу.

— А что? — уже встревоженно спросил Сергей Дмитриевич, чувствуя какую-то новую для себя неприятность.

Сын ждал его у крыльца хмурый, озабоченный.

— Что ж ты себя под смех-то ставишь? — осуждающе сказал он.

— А что? Я ничего.

— А чего ж тогда болтают, что ты ждал к себе ночью Нюшину маму? До петухов не спал.

— Да ничего я этого не говорил. Клянусь тебе!

— Не знаю, но вся деревня только про тебя и говорит. Прямо хоть уезжай домой.

— Ну что ж, уеду. Только я тебе со всей честностью: ничего я не говорил. Это все старик Репей наплел. Идем к нему. Пусть он скажет, что я ему говорил.

— Ничего он не скажет... И зачем ты пошел к нему? И Аннушка расстроилась. Зачем-то расспрашивал про ее родителей...

— Да не расспрашивал я! — вскричал Сергей Дмитриевич. — Ну что это на самом деле! Ничего я не говорил. Ни про куру, ни про нее, ни про себя. Навыдумывал все, старый пес! Наврал!

На крыльце появилась Авдотья Никитична.

— Ну чего вы тут устроились? Репей, он и есть Репей. Кого хошь ославит. Только тебе-то, Сергей Дмитрич, надо бы посерьезней быть. Не мальчишка... Идите молоко пить, да и спать надо.

Когда Сергей Дмитриевич поравнялся с нею, Авдотья Никитична спросила:

— Не говорил ли Репей чего про корову, когда ты стоял с ним у дороги?

— Говорил, яловая она.

— Ну вот, и все-то ему дело. А у самого собаки никогда не было. Так пустырем и прожил всю жизнь. Ладно, хоть про нас с тобой грязь не пустил. Он все может.

Сергей Дмитриевич подавленно молчал.

1977

## ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ

Думали — дойдет до убийства. Особенно если учесть характер Алексея Ломова — молчун мужик. А то так рявкнет, что оторопь возьмет. Все удивлялись, как с ним живет Маргарита Петровна.

Девчонкой она работала в клубе контролером. Проверяла билеты. Тонюсенская, хрупкая. Только такой и заниматься клубной работой. И не осуждали, хотя она была из такой же крестьянской семьи, как и другие девчата. Только те — как свеклы из грядки, а эта вроде

горохового стручка. И удивлялись, чего в ней нашел Алешка, здоровый красавец парень. А чего-то, видно, нашел, если женился. Родила она ему сына. И нисколько не изменилась — все такая же тонюсенькая, вроде подростка. И Алексей все таким же молчуном оставался.

Любопытно было узнать, как все же они живут. Пытались иные заглянуть в их дом, но для посторонних он всегда был на запоре. Только от матери Алексея, высокой сильной женщины, порой доходили слухи, что невестка ленива и неряшлива. Когда эти слухи докатились до Алексея, то и матери доступ в дом был закрыт.

Ну, то, что неряшлива, это как сказать. По ее виду не подумаешь. Всегда чистенькая, аккуратная, и причесана по-модному, и платье как на картинке. Такой, конечно, одеться со вкусом проще простого. Самая ходовая фигура. И грудь невысокая, и в поясе вперехват, и росту не больше первого. Да хоть и ноги взять — тридцать третий. А таких размеров даже в сельском магазине навалом, не то, что тридцать девятый или сороковой. Тех наищещься. Так что ей не быть аккуратной? Да и работа такая. К тому времени, как вся эта история развязалась, любовная-то, Маргарита Петровна работала заведующей клубом. Ну, а ленива, как про нее говорила мать Алексея, так кто ее знает. Снаружи дом как дом, и во дворе порядок. Правда, Алексей все по дому ломит. Так, опять же, кому и ломить, как не ему, с его-то силой.

Случалось, довольно часто, приходя с работы, заставал он жену на кушетке с книгой. Она как бы через силу подымалась, вроде бы ей нездоровилось, но он тут же махал рукой, чтобы она не отвлекалась от своего дела. Потому как работа у нее такая, культурная. И сам разогревал себе обед, благо не такой уж и труд поднести к газу спичку.

Будучи сам крупным и сильным, Алексей видел в ней существо слабое. И не досадовал, а жалел, как жалеют выпавших из гнезда птенцов, когда она прихварывала или чувствовала недомогание. И ему в такие дни было не по себе. Он даже себя считал как бы виноватым в том, что она нездорова.

К сыну Алексей относился хорошо, но любил бы больше, если бы тот был похож на мать. Сын же вылитый был отец, такой же рослый, сильный, большерукий.

Все шло хорошо. Уже второй год сын служил в армии. И вот Маргарита Петровна все чаще стала не то чтобы прихварывать, а как-то поскучнела. Молчит, будто и не замечает мужа. Сидит на кушетке, кутается в платок и все о чем-то думает. А в доме не прибрано, обед не стоговлен. Другой бы мужик взъерошился, накричал, но только не Алексей. Молча все приберет, надо, так и обед стоговит и жену позовет к столу. Ему вполне хватало того, что она рядом с ним. И пусть молчит, он-то ведь тоже не любит болтовни. Только чего-то она стала все больше вздыхать...

А вздыхала Маргарита Петровна оттого, что хоть сидела она дома, а мыслями была совсем в другом месте — у зоотехника Василия Степановича, еще далеко не старого одинокого мужнины. Вот уж больше года, как длится у нее с ним роман. Как-то пришел он в клуб, заглянул в ее кабинет, заговорил о том о сем, вспомнил недавно просмотренный фильм «Мужчина и женщина», перевел разговор на себя, на свое одиночество — мол, поэтому у него особый интерес к фильмам и книгам, в которых про любовь. И как-то незаметно завязался у них в тот вечер непринужденный разговор, и смеяться стали, и Маргарита Петровна почувствовала к зоотехнику симпатию, хотя и знала, что он охочий до женского полу. Но это как-то ее не остановило, напротив, разожгло любопытство. Оказалось, что он довольно начитанный, и это тоже послужило сближению. Потому что Алексей книг не читал, а газету брал в руки, только когда в ней помещалась таблица выигрышей в лотерею.

С этого вечера все началось. Встречаться приходилось украдкой, урывками, но в этом и для нее и для него была какая-то своя заманчивость. И чем дольше продолжалась их связь, тем больше тянуло их друг к другу. И такие отношения у них, как уже сказано, продолжались более года, как вдруг грянул гром в образе бывшей любви Василия Степановича Вальки Татаркиной. Когда-то она жила в этом большом селе, тогда и сблизилась с Василием Степановичем, потом уехала в Псков, а тут надумала проведать мать-старуху и забежала утречком по старой тропинке. Но место ее было занято. Это она сразу поняла по тому, как ее встретил Василий Степанович.

— Чего тебе? — грубовато сказал он и загородил вход.

— Да вот, шла мимо, дай, думаю, навещу.

Он поглядел на нее мягко и ласково, видимо, вспомнив, что меж ними было. Но решил, что уж коли все во вчерашнем дне, то нечего ворошить прошлогоднюю мякину, и сказал:

— Что было, Валя, то было. Закат догорел.

— Женился, что ли?

— Да нет, пока еще чужими обхожусь.

И тут Вальку осенило, что в доме у него кто-то есть, иначе не держал бы ее на крыльце. И она решительно и ловко скользнула мимо него и прошла в кухню. Из кухни в комнату заглянула. И там увидела торопливо одевающуюся Маргариту Петровну.

— Ой, куда забралась, бесстыжая! — засмеялась Валька и хохоча пошла обратно, понимая, что тут ей делать больше нечего.

— Ты вот что, языком-то не особо, — сказал ей Василий Степанович, выпроваживая из дому.

Может, она бы никому и не сказала, но черт его дернул толкнуть слегка ее со ступенек. Она чуть не упала, и рассердилась, и злая пошагала к дороге. Пошла так, как ходят несправедливо уволенные

с работы. С закипающей от обиды кровью на сердце. И тут увидала Алексея. Он улучил часок, чтоб покормить кабана, и направлялся домой.

— Эй ты, жмурик! — крикнула ему Валентина.

Он только взглянул на нее, чуть дернул головой и пошел дальше.

— Гуляешь, а твоя Маргаритка в постели с Василь Степанычем кувыркается!

— Чего?

— Того! — не стала пояснять Валентина и побыстрой от него, чтобы не прихватил своей ручищей за воротник.

Алексей остолбенело постоял некоторое время и, ничего не поняв, пошел к дому. Там жены не было, Ну что ж, значит, в клубе, а то и в сельсовете. Мало ль у нее дел... И вывалил из чугуна в ведро вареную картошку, натолок ее. Нарубил свежей крапивы и тоже в ведро. Долил водой. И понес в сарай. Стал кормить жадно чавкавшего кабана. Но что бы он ни делал, в ушах все время звучал Валькин голос. «Чего это она набрехала-то? — думал он. — Кувыркается... Слово-то какое...» Он постоял в раздумье, потом вспомнил, что сегодня субботний день, и, радуясь новому занятию, отвлекающему от неприятных дум, стал таскать из колодца воду в банный котел. Затопил печь. И пошел в мастерские. А когда вернулся, то застал жену на кушетке, с поджатыми ногами. Когда ей нездоровилось, она всегда вот так лежала с поджатыми ногами, кутаясь в платок. И Алексей не осмелился ей ничего сказать. Только присел на краешек кушетки и заглянул в глаза. И увидел хмурое, отчужденное выражение, такое, как если бы не жена была перед ним, а совсем посторонний человек, к тому же еще и сердитый на него.

— Ты чего?

— Ничего... — Она натянула на плечи платок, вздохнула.

— Где была-то?

Он и не думал ее допрашивать. Но она резко взглянула на него, подумав, уж не знает ли он о том, что ее застала Валька.

— А что? — тревожно и с неприязнью спросила она.

Ее тревога не ускользнула от Алексея, он вспомнил Валькины нехорошие слова и смешался, не зная, что и ответить. Его замешательство не прошло мимо Маргариты.

— Чего ты? — Несмотря на ее миловидность, голос ее часто звучал резко и грубо. Прозвучал так и теперь.

— Да ничего... ерунда...

— Какая ерунда? — требовательно спросила она, и он, как всегда, подчинился, когда она так с ним говорила.

— Да тут Валька Татаркина, помнишь, еще когда уехала, а теперь объявилась, так она... — Он замялся.

— Ну!

Алексей поглядел на жену и не смог представить, чтобы она могла «кувыркаться» в постели с зоотехником, этим распутным мужиком. Да и откуда могла Валька видеть такое. И даже подумал с осуждением, как это он мог допустить такие мысли о жене.

— Ну, чего ж молчишь? Коли начал, так говори. Чего она наговорила?

— А! — отмахнулся Алексей.

— Да ты скажешь или нет? — вскричала жена и с такой злобой поглядела на него, что он в растерянности даже улыбнулся и смущенно ответил, через силу, и казня, и вина себя, и как бы заранее выпрашивая прощения:

— Ну, будто ты у Василь Степаныча бываешь...

— Поверил ей?

— Что я, дурак, что ли, — чувствуя, как с сердца сваливается тяжесть, сказал Алексей. — Давай обедать, я еще не ел. Да надо баню посмотреть.

Он ушел, а через несколько минут ушла и она, прихватив с собой небольшой узел с бельем.

Алексей не сразу понял, что она бросила его. Весь этот день, и вечер, и ночь ждал ее, не понимая, куда она могла уйти, хотя страшные догадки все время польхали в его мозгу. Выходил на улицу, сидел у калитки. Прошел к клубу, — это уже среди ночи. Клуб был закрыт. Тогда, мучаясь от унижения, прошагал к дому зоотехника. Одно окно было освещено, но он не осмелился заглянуть, да и вряд ли бы что увидал, — оно было задернуто занавеской. Даже теней не было видно.

Вернулся домой. Пусто. И все понял. Не рвал, не метал. Не запил. Но и прежнего интереса к жизни не стало. Ходил на работу, делал, что требовали, но все это безо всякого участия. Если б не мать, подошли бы и кабан и овцы, — не думал о них. Как и о себе не думал. Ел и не замечал, что в тарелке. Мог за весь день и ничего не поесть. И на работе и соседи все уже знали, что Маргарита Петровна от него ушла. И, как ни странно, не осуждали ее. Еще бы — с таким увальнем жить! Слова не скажет, а ведь она человек, не бревно. Потому и ушла. Культурная. Но он не слушал пересудов. И не говорил ни с кем, только все время как бы прислушивался к себе, к своей пустоте, которая заполнила грудь. И это состояние одиночества почему-то требовало постоянного покоя. И на работе, и на улице, и дома он передвигался медленно. Мог остановиться и бездумно смотреть себе под ноги. Не отвечал, когда его спрашивали. И окружающие стали, показывая на него, вертеть у виска пальцем.

Так продолжалось две недели. И ни разу Алексей не подошел к клубу, не попытался встретить свою жену, даже хотя бы издали поглядеть на нее.

Она пришла сама. Ее выставил Василий Степанович. Привыкнув по закоренелой холостяцкой привычке к порядку, он не смог вынести того ералаша, какой внесла в его дом за короткое время эта маленькая обленившаяся женщина, к тому же требовавшая от него только любви и любви.

— Либо на косе удавлюся, либо в море утоплюся, — с такими словами явилась она к Алексею. И заплакала.

Увидев ее, он задрожал, кинулся к ней и, встав на колени, стал гладить ее по голове, успокаивать, просить, чтобы не плакала. Он не мог выносить ее слез.

Тут постучали в дверь. И Алексей вышел.

— Письмо тебе заказное от сына, — сказала почтальонша и прикусила от удивления губу. Все лицо у Алексея было мокрым от слез. — Чего это ты?

— Рита вернулась, — счастливо улыбнулся он.

— Ну так что?

— Плачет... Обидел он ее.

— Ну, а ты-то чего?

— Так ведь жалко... — И Алексей, вскрикнув, махнул рукой и отвернулся.

1977

## ПУТЕШЕСТВЕННИК

Никогда не отдыхал. Всю жизнь работал. Даже по выходным. Деньги были нужны. Нет, не на хлеб. А так, чтоб чего-то еще купить. И вдруг понял — хорошо ничего не делать. Сидеть у калитки, глядеть, как мимо проходят люди. По шоссе. Туда — сюда. До этого некогда было глядеть, кто как ходит, куда идет. А теперь все на виду. Вон Петр идет. Что-то тащит в сумке. Рука оттянута. Тяжело.

— Здорово, Петр!

— Здорово! — Но не остановился. — Отдыхаешь? — спросил на ходу.

— Ага. Сижу, вот гляжу.

— Ну-ну...

Ушел.

Вон соседка, Настасья, вывела телка. Забила колышек, навязала веревку. Пасется бычок. Когда ж это она успела им обзавестись?.. А чего ей бычок, телку бы складнее.

— Здорово, Настасья!

— Здравствуй, коли не шутишь. Чего расселся-то?

— Да вот отдыхаю. Чего это бычком-то обзавелась, а не телкой?

— А куда мне телку-то? Хватит, и так намаялась с коровой. А бычка за лето выращу, на мясо сдам государству, вот тебе и денежка. Что-ничто, а рублей за шестьсот сдам. Так-то, Иван Михайлыч.

«Смотри ты,— удивился Иван Михайлыч,— и то дело баба придумала. Молодца!» Но идеей не увлекся. Сидел, глядел на все, что было перед глазами. Сначала не думал, а потом стал думать о том, как жил, что повидал за прожитые годы, и, перебирая в памяти многое, пришел к выводу, что ничего особенного и не повидал. Все работал и работал, махал топором и махал, то стесывая бревна, то вырубая «лапу» или вгоняя окосячку. И не успевал кончить одно, как наваливалось другое. И опять махал и махал, без перекура, потому что не курил. Тюк, тюк! Тюк-тюк! Тюк-тюк! И все радовался, что деньга идет. А где она, деньга-то? В гарнитур вбита, будто он так уж и нужен. В телевизор, перед которым не раз сидя засыпал от усталости. В холодильник, который без надобности стоит даже и летом, потому что много ли надо на двоих той же еды, хоть и мяса. А еще куда вбуханы денежки? В одежонку, что ли? Так ведь не ахти какая одежонка что у него, что у Пелагеи, не лучше, чем у иных.

Во, Васька подошел к автобусу. В шляпе, в нейлоновой курточке. А мужику за сорок. Чего это он так вырядился? Куда это собрался-то?

— Ты куда, Василий? — никогда раньше не интересовался, а тут не утерпел.

— На Кудыкину гору! — отрывисто крикнул Васька и легко вскопил в подошедший автобус.

«Какие-то дела, видно, у него... Свой интерес»,— подумал Иван Михайлыч и снова стал думать о том, что за работой не видал жизни. А жизнь, она ведь не только в работе. Вон сколько всего на земле: и леса, и горы, и реки, и моря, и степи. Все человеку. Значит, и ему. А он-то ничего и не повидал. Все с топором, тюк да тюк. Видал деревья-то больше в бревнах, а не в лесу. А ведь они шумят на ветру...

— Здравствуй, дядя Иван!

— Здорово, Володя! — ответил Иван Михайлыч, провожая взглядом соседского паренька. И когда успел вымахать? Давно ли видал в коляске, одни щеки торчали, а теперь, поди-ка, скоро и в армию. Летит времечко, летит. Пятьдесят годков уж отмеряно. Впереди горюшка-то куда меньше, а все чего-то карабкаюсь, будто невидаль какую увижу с нее. А чего увижу? То, что и всю свою жизнь видел. Дальше поселка нос не совал. А мир-то велик. Вон чего другой раз показывают по телевизору. Каких стран и народов только нет. Это ж уму непостижимо, какое количество! Вот походить, повидать бы, поглядеть на другие места. А то ведь этак и жизнь до крайнего часа дойдет и ничего не увидишь. А тут, только выйди за поселок, и вот тебе новое. Шагай и шагай, а оно все будет тебе открываться и открываться. И конца-края нет новому-то...

Иван Михайлыч перевел взгляд за крыши домов, в сторону далекого лесистого холма. И ему представилось, как он шагает по дороге. За плечами у него легкая сумка, можно и рюкзачок, как у туристов. В руке палка. Повеселее с ней-то. Дорога перед ним длинная, без конца. И он шагает и шагает. Можно куда хошь уйти. На Урал или Волгу. А то и в Сибирь махнуть. Сибирь-то, она большая. И рек там не перечесть. Хорошо идти берегом. Костерок развести. Можно шалаш сделать и пожить сколь захочется. А потом опять шагай дальше...

От таких непривычных дум Иван Михайлыч разволновался. Почувствовал, как в груди защемило, от радости ли или от тревоги, но стало приятно.

Из дома вышла жена с миской кормить кур, но он хоть и увидел ее, но не подумал о ней. Она как-то не входила в его мечты. А Пелагея Дмитриевна, заметив его сидящим на лавке у калитки, чего с ним никогда не случалось,— чтобы он сидел и ничего не делал! — медленно подошла к нему и с тревогой стала всматриваться.

— Чего сидишь-то? — спросила она.

— А ничего.

— Уж не заболел ли?

На это Иван Михайлыч ничего не ответил.

— Чего молчишь-то?

— Иди. Думаю...

— Господи, — растерянно прошептала Пелагея и тихо отошла. — Может, за «маленькой» сходить? — спросила у крыльца.

Не ответил. Он даже и не слышал. Ему нравилось пребывать в своем только что им самим созданном мире. Он уже видел степи — они медленно проплывали перед его взором, видел дремучие леса, быстрые, широкие реки, высокие, до неба, горы — но, что бы он ни видел, ничто не заслоняло дороги. Она так и вилась перед ним, то открываясь до самой дали, то сворачивая вправо или влево. Видя все это, он не задумывался, откуда оно приходит, но видения природы все четче и четче и все заманчивее вставали перед ним, и он, уже не замечая, погруженный в свои мечтания, улыбался, негромко разговаривал сам с собой, шевелил руками.

Это заметила Настасья. Пришла, чтобы привязать бычка на новом месте. Вгляделась и ахнула. Иван Михайлыч говорил сам с собой, кому-то улыбался, шевелил согнутыми пальцами крупных, почерневших от ветров и солнца рук.

— Матушки мои! — тихо воскликнула Настасья и боком-боком подалась к задней калитке шатровского дома. Вбежала во двор и замахала рукой, подзывая к себе Пелагею.

— Чего ты? — подбежала та.

— Глянь, чего с Иваном-то детсяя! С кем-то все говорит, лыбится, пальцами перебирает, а никого с ним нет... Ведь он тронулся, Палаша,

вот тебе крест святой, тронулся... Ты глянь, глянь со стороны-то... — потянула Пелагею за собой на поляну. И оттуда стали обе глядеть на Ивана Михайлыча. А он в это время видел себя на дороге, и перед ним открывался бесконечный простор и впереди и по сторонам. И тут Иван Михайлыч повел рукой и вправо и влево, как бы показывая этот простор, и неожиданно увидел перед собой плачущую Пелагею и за нею перепуганную Настасью.

— Чего вы? — встрепенулся он.

Пелагея всхлипнула, а Настасья, сложив на груди руки комочком, жалостливо сказала:

— А ведь ты больной, Иван Михайлыч... как есть больной.

— С чего ты взяла-то? — резко вскрикнул Иван Михайлыч. — А ты чего нюни распустила? Чего вы устались-то на меня?

Они тихо отошли от него.

Иван Михайлыч плюнул с досады и попытался снова войти в прежнее мечтательное состояние, но оно, как сон, уже не вернулось. Его словно тряпкой стерли. Посидев еще немного, он встал и направился в сарай.

Через некоторое время оттуда стало доноситься: «Тюк-тюк! Тюк-тюк! Тюк-тюк!»

1976

## НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ

На его открытие баба Нюша не смогла прийти — заболела. Но теперь, поправившись, засобиралась. Хотела своими глазами увидеть то, что другие видели. Иного интереса у нее не было. За всю свою долгую, восьмидесятилетнюю жизнь дальше деревни она нигде не бывала. Тем более не приходилось ей бывать в музеях. И даже что они из себя представляют — не очень-то понимала. Но все же принарядилась. Аккуратно повязала голову цветастым, сохраненным еще с давних лет платком так, что два больших конца закрыли широким узлом грудь черной плюшевой жакетки, из-под которой тянулась до пят прямая шерстяная юбка. На ногах у нее были резиновые боты. Принарядилась так, как обычно одевалась, идя в клуб, на люди.

Шла не спеша, по твердой дорожке, накатанной рядом с шоссе. По сторонам от дорожки темнел подтаявший снег. Пятнами обнажалась земля с прошлогодними отмершими травами. Возле дома на припеке грелись куры. Волглый ветер оведал морщинистое лицо, выбивая из глаз пресные слезы. Баба Нюша утирала их чистым платком и шла, ни о чем не думая, устремленно вперед.

Музей находился рядом с клубом. Ему отвели небольшую комнату, отгороженную от зрительного зала стеной кирпичной выкладки.

— Здравствуй, Елена Васильевна, — поздоровалась еще у порога с заведующей музеем баба Ньюша.

Заведующая отложила книгу в сторону. Она была тоже далеко за пенсионного возраста. Когда-то учительствовала, а теперь занималась на общественных началах народным музеем.

— Че это у тебя такое? — спросила все еще с порога баба Ньюша, оглядывая стены, занятые картами, фотографиями, и столы-витрины с разными вещами.

— Заходи, заходи, — приветливо поощрила ее заведующая и взяла указку. Видно было, что она рада пришедшему человеку и готова все ей рассказать и показать, что было в музее.

Баба Ньюша, оглядев пол, чтобы не наследить, остановилась у края, от которого начиналась выставка.

Там, на большом белом стенде, виднелись археологические находки десятого века. О них и стала говорить Елена Васильевна. И баба Ньюша, к удивлению своему, узнала, что на земле их деревни давным-давно жили люди, носили бусы, стреляли из лука стрелами с бронзовыми наконечниками, рубились в боях секирами.

— Скажи ты, матушка, — покачала в удивлении головой старуха. — Надо же... — И вспомнила, как прошлым летом приезжали ученые люди — двое мужчин и женщина, жили у старика Мирона и все чего-то копали в кургане возле Чудского озера. Значит, это они и старались для музея. И сказала об этом Елене Васильевне.

— Нет, никакие они не археологи, а проходимцы, — ответила Елена Васильевна. — Разрушили курган, забрали, что хотели, а это уж школьники подобрали остатки.

— Да как же это, матушка, такое допустили? — всполошилась старуха.

— А потому что доверчивы больно. Пускаем в свой дом всяких, а они тут и хозяйничают.

— Может, там что и дорогое было?

— Наверно, было. Затем и приехали.

— И что же, не найти их?

— Нет. Оказывается, они даже и в сельсовете не были. А Мирон Афанасьевич паспортов не потребовал. Вот так вот...

— Смотри ты, а мы живем и не знаем, что у нас под боком такие богатства!

— Ну, не богатство в том смысле, а... Впрочем, может, что было и дорогое... А вот тут уже наше дореволюционное время.

И баба Ньюша увидела большую фотографию, на которой был изображен сеятель. Но в нем она никого из своих не признала. Видно, был мужик из другой деревни, из дальней.

Внизу, на полу лежали серпы, соха, стояла прялка с куделей и веретенами, воткнутыми в нее. Железные кованые удила. Тесало. Но

это все старухе было знакомо, и она не задержалась, не понимая, зачем эту рухлядь натащили сюда.

Дальше шел стенд коллективизации. На увеличенной фотографии, выстроившись в ряд, стояли молодые мужики-пахари и старики с белыми полотенцами в руках. Это был первый колхозный сев. Она помнила его. И всех мужиков узнала. И первого председателя колхоза Ивана Степановича Чистякова. Хороший был мужик, хозяйственный.

— Тогда в нашем сельсовете было восемнадцать колхозов. Некоторые состояли из пяти-шести дворов,— объясняла заведующая.

— Помню, как же, помню...— ответила ей баба Ньюша.— Все на памяти.

И действительно, все было на ее не замутненный годами памяти. Помнила, как возвращались с полей с песнями, особенно с покоса. То ли от молодости силы было невпроворот, то ли оттого, что жизнь ладилась, но легко было тогда. Среди баб узнала и себя, чему-то смеющуюся. Может, кто сказал что смешное, вот она и расхохоталась. Чего греха таить — любила посмеяться. Теперь-то уж и забыла, как это делается, а тогда смеялась. Веселая была. А как и не веселиться,— сама молода, муж молодой, сын подрастал — уже в школу ходил, дочка народилась. Все ладилось, вот и смеялась от беспечности...

И сразу как туча нашла на солнце. Это оттого, что заведующая подвела ее к большому стенду, на котором были три длинных ряда фотографий тех, кто погиб в войну из их деревни. И баба Ньюша сразу узнала многих, да, считай, всех, и молодых и старых, и солдат и партизан, и мужчин и женщин. И как ожгло — увидела лицо своего сына. Он глядел на нее открыто и ясно, даже чуть улыбался.

— Сынок...— невольно вырвалось у нее, и она заплакала, прижимая руку ко рту. И вспомнилась война, и как среди ночи раздался тихий стук в окно, и баба Ньюша, тогда еще не старая, вскочила с постели и, робея, подошла к окну, чуть сдвинула занавеску и увидела прильнувшее к стеклу лицо сына.

Он пришел раненый. Оставаться в лесу ему было никак нельзя. Начинала гноиться рана, и рука уже отекала до локтя. Как могла, очистила рану, приложила листья подорожника, завязала чистым. И он остался дома, благо немцев в деревне не было. Они только проезжали на своих машинах в сторону Пскова. Тогда Василий спускался в подпол и там пережидал, пока не проедут. Но однажды случилось так, что трое мотоциклистов зашли в дом и потребовали молока. Она напоила их, и они ушли. Затрещали мотоциклы, и сестренка крикнула в подпол, чтобы Вася вылезал. Василий вылез. И ни к чему им было, что один из мотоциклистов чего-то задержался в сенях. Но вскоре и он уехал. А через каких-нибудь десять минут все трое вернулись. Василий не успел слезть в подпол и поспешно спрятался под кровать. Там они его и нашли, и, даже не потребовав,

чтобы вылез, пустили по нему несколько очередей из автомата. Один из фрицев сурово погрозил ей пальцем, и они уехали, уже по-настоящему.

Сын глядел на мать с портрета чуть улыбаясь. И рядом с ним были спокойные, открытые лица, теснившие его и сверху, и снизу, и с боков. И все же каждому из них было просторно. Все они погибли. И три брата Журавлевых на войне. И Степан Авдеевич в партизанах. И Катюшка, еще совсем девчонка, повешенная за связь с партизанами. И Николай Мельников, погибший на войне. И двое братьев-подростков — Лушинных детей, запоротых насмерть за то, что не выдали, где находятся партизаны. А они и не знали где — прятались от немцев в лесу и пришли за рамами для землянок в деревню. А тут их и прихватили. Подумали, что они пришли на разведку... И много, много еще деревенских, своих в этих трех рядах.

— Не все еще фотографии достали, — донесся до бабы Ньюши голос заведующей. — Всех погибло сто восемьдесят человек из нашей деревни, а фотографий только шестьдесят восемь.

Ее сына фотография есть, чистая, большая. Ее пересняли школьники с маленькой, которая хранится дома у старухи. Он на ней такой, каким был перед войной. Баба Ньюша глядела на фотографию и вспоминала, как вытаскивала его из-под кровати, всего в крови, мертвого. Как звала, заглядывала в глаза, думая, что он еще видит, но в глазах была уже заткнутая тусклота и ничего в них не отражалось. Даже свет от окна. Даже солнце. Кричала семилетняя дочка: «Братушка, что я наделала! Братушка, что я наделала!» — и каталась по полу возле него.

«А рука-то стала уже оживать», — вспомнила старуха, но без боли, как давно пережитое. И вдруг в таком знакомом лице не то чтобы увидела, а как-то почувствовала, что ее сын, вот на этой стене, не только ее сын, а еще какой-то другой человек, чем-то уже отрешенный от нее, слившийся со всеми, кто погиб, кого уже давно нет в живых. И все они вместе иные, чем каких она знала, — не просто деревенские, а тоже отрешенные. Кто убитый, кто повешенный, кто замученный. Она переводила взгляд с одного лица на другое, и все они были такие близкие и такие далекие. И какая-то неуловимая грань стояла между нею и этими людьми, собранными воедино, отдавшими свою жизнь за Родину. И сын, как бы уже в святом отдалении, глядел на нее.

1977

## ЕДИНСТВЕННАЯ НОЧЬ

Выше катерок пробиться не смог — начались перекаты, и поэтому капитан дал команду пристать к берегу, и пассажиры — их было пять человек — с рюкзаками и выючными сумами сошли по доске на обрывистый склон, после чего катерок развернулся и пошел обратно.

Отсюда изыскателям следовало пройти еще километров десять до

своего участка, и они пошли, привычно выстроившись гуськом. Впереди шагал начальник отряда, стройный, легкий на ногу инженер. Высокая, жесткая трава путалась в ногах, и время от времени начальника сменял идущий за ним. Всех легче было последнему. Он шел по готовому проходу. Последним был старший техник Коля Кунгуров. Ему недавно исполнилось двадцать три года. Для других такой возраст, возможно, и не имел особого значения, но для Кунгурова, у которого все в жизни было продумано, этот возраст определял его служебное положение — он был старшим техником. Свою жизнь он строил продуманно. Он знал, в каком возрасте станет инженером, когда начальником отряда, когда старшим инженером партии, главным инженером экспедиции. Знал, когда женится, когда появятся дети и сколько их будет. План предусматривал все.

Но жизнь есть жизнь, и хотя женитьба не была запланирована в двадцать три года, это не мешало Кунгурову пристально поглядывать на высокую геологиню, идущую впереди. Ему хорошо были видны ее сильные, длинные ноги. Иногда он даже чуть отставал, чтобы еще лучше было видно ее всю, с крутыми бедрами, светловолосую, в легкой косыночке. Он знал, что нравится ей, нравится настолько, что она сама не раз с ним заговаривала и все поглядывала на него, и в ее глазах он видел веселую улыбку. И знал: от него зависит — быть счастливой геологине или не быть. То есть пожелай он жениться на ней, и она не задумается, пойдет за него. И он женился бы, она тоже нравилась ему, но, согласно плану, жениться ему было еще не время. Только добившись должности старшего инженера партии, он мог позволить себе семью. А так и думать нечего...

— Ты чего отстаешь?— крикнула ему геологиня. Саня ее звали.

Она и лицом была хороша. Правда, хотелось, чтобы глаза были чуть побольше, но и такие годятся — голубые кусочки в густых ресницах, этакие небесные шмели. И рот у нее был какой надо: когда улыбалась, то все зубы, и верхние, и нижние, сверкали, не то что у других — только нижний или верхний ряд.

— Идем быстрее,— сказала она,— смотри, какая туча!

Туча надвигалась на них с другого берега, вылезала из-за сопки. И хотя края у нее просвечивали, но в середине она была черна и плотна. Похоже, несла грозу.

— Боишься?— спросил Кунгуров.

— С тобой-то?— Она дождалась, когда он подошел.— С тобой не страшно.

— И со мной вымокнешь.

— Так ведь с тобой!— Она шла напрямую и не скрывала своих чувств.

И он весело засмеялся, глядя в ее шмелиные глаза. Все же занятная деваха. Потрепать бы с ней, но так, чтоб никаких осложнений, но где там! Только сунь палец, как всю руку отхватит.

А туча все больше нависала. Но им повезло. Даже не пришлось и палатку ставить. На берегу оказался домишко, то ли бакенщика (потому что в хорошую воду катера подымались немного выше), то ли рыбака — халупка с крышей и одним оконцем, затянутым сохатыным пузырем. И они, все пятеро, с криками и смехом кинулись к нему.

И только успели добежать, как тут же посыпал крупный дождь, и словно для того, чтобы он заработал как надо, его подхлестнуло такой яркой молнией, что все в халупе стало белым, и лица у всех стали будто из гипса, и только шмелиные глаза у Сани еще больше потемнели. И озорно дрогнули, когда над самой крышей лопнул гром. И тут же сразу хлынул навесной ливень. И стемнело. И уже больше за весь этот день не стало светлей. И без перехода наступил вечер.

Изыскатели были рады-радешеньки, что так вовремя им подвернулся этот домишко. И совсем не беда, что нет двери, главное — крыша над головой, и такая прочная, что дождь шпарит вовсю, слышно, как полосами стекает по ней, а она не протекает. Чего же еще? Поэтому люди шутили, смеялись, засветло поели, правда, всухомятку, но это дело привычное. А когда стемнело, стали устраиваться на ночь. Топчан уступили начальнику отряда, а сами на полу. Конечно, не мешало бы кинуть хотя бы лапника или травы, но где же в такой ливень достанешь, но можно и так — под голову рюкзаки, а накрыться палаткой. Это потом, когда придут к месту работы, устроятся как следует, — там база, там и спальные мешки, а пока и так хорошо. Растягивайся во всю длину. Почивай...

Совсем непреднамеренно, но уж так получилось, что Кунгуров оказался рядом с Саней.

— Жестковато, — сказал он, укладываясь поудобнее.

— Ничего, — ответила она и придвинулась к нему поближе. Это потому, что ей мешали ножки топчана. Но Кунгуров понял по-своему. Он было отдалился от нее, но натолкнулся на колени геолога Макарова. Они были острые и холодные, и Кунгуров невольно приблизился к Сане. И оказался рядом с ее лицом так близко, что почувствовал ее дыхание. После чего уже уснуть не смог.

Первым захрапел начальник отряда, и сразу же загудел вслед за ним геолог Макаров, не отстал и тихоня Соколов, стал посапывать между двумя храпами. Но ни Кунгуров, ни Саня и не думали засыпать. Дыхание их было чуть приметным, затаенным.

Стало так темно, что даже проем двери слился с ночным мраком. Гроза ушла, но дождь все шумел и, как видно, не собирался переставать, и поэтому в домишке было особенно уютно. Кунгуров пошевелился и нечаянно коснулся руки Сани, и замер, не убирав своей руки. И она свою не отодвинула. Так они, прислушиваясь друг к другу,

пролежали несколько минут. Кунгуров подумал было, что вся эта затея ему ни к чему, но мысль оказалась вялой, и ее тут же осилило чувство молодости и желание близости, и он положил свою ладонь на Санину руку. И тут она не сбросила его руку, но и никак не ответила, будто спала или не заметила, хотя Кунгуров-то отлично знал, что все это не так. Он понимал: идет извечная игра в Он и Она, и осторожно, затаив дыхание, поглядел в ее лицо. Было темно, и все же он увидел ее глаза — взблеснувшие белки. И потянулся к ней и, когда его лица коснулись ее легкие волосы, обнял ее. И она готовно прижалась к нему.

Говорить что-либо, даже шепотом, он опасался, чтобы кто не услышал, но, собственно, говорить было и не о чем и незачем. Шел разговор рук... Черт, как бешено колотилось сердце!

— Ты любишь меня? — донеслось до него.

— Да... да... — тут же ответил он и поцеловал ее, не сразу найдя губы, — сначала в щеку, а потом уже и в губы.

— Ласковый мой... любимый...

В эту минуту начальник отряда стал чертыхаться, греметь спичками. Зажег клочок бумаги. Оказывается, его зажрали комары. А они их и не заметили. Запахло дымом. И опять все стихло.

«Надо ли, надо ли мне это? — лихорадочно думал Кунгуров, чувствуя близость Саниного тела.— Это слишком ответственно в отряде, на работе. На виду у всех, могут быть осложнения...» Но мысли были как бы сами по себе и не играли никакой решающей роли, а руки... С какой жадностью они сжимали ее пальцы, приближали к себе. Она разрешала себя целовать, отвечала на его поцелуи.

— Нет, это черт знает что! — вскричал начальник отряда и стал чиркать спички, жечь бумагу.

И тут стали один за другим ворочаться и ругаться геолог Макаров и тихоня Соколов. Стали курить, чтобы отогнать комаров. И лишь теперь Кунгуров заметил, как горит у него накусанный лоб. С обеих сторон от него слышались шлепки — это лупили себя по лбу и по щекам его друзья. Сожгли всю бумагу, завесили проем палаткой, но сна уже не было. Да и начало светать. А дождь все шел и шел, размеренный, однообразный, и под него все незаметно уснули. Уснул и Кунгуров. Сквозь легкое забытие он слышал, как кто-то гладит его по щеке, понимал, что это Саня, но так хотелось спать...

А когда проснулся, то уже было солнце, от туч даже и следа не осталось. В проем двери было видно чистое небо. Веял ветерок. И от солнца, от этого легкого ветерка трава быстро обсохла, и изыскатели, не задерживаясь, пошли к базе. До нее было уже не так и далеко.

Кунгуров опять шел позади всех. Перед ним шагала Саня. Он глядел на нее, вспоминал прошедшую ночь во всех ее подробностях, как она прошептала: «Ласковый мой... любимый...», и поцелуи, и все это значило, что если бы он находился с ней наедине, то ему ни в чем бы отказа не стало, и это его настораживало. Так недолго и жизнь

поломать, разрушить хорошо продуманный жизненный план. «Нет, так дело не пойдет», — думал Кунгуров и усмешливо поглядывал на Саню.

И еще вспомнилось ему: когда выходили из домика, она подошла к нему и в ее взгляде было откровенное выражение радости. И это тоже ему не понравилось, было похоже, будто она одержала над ним победу. И не просто так одержала, а хочет «заарканить» его. Может, и у нее был свой план?

«Нет-нет, не выйдет, хотя она и славная, — думал Кунгуров. — Таких девчат поискать. Но рано мне еще, рано...»

Несколько раз Саня оборачивалась, глядела на Кунгурова, но он делал вид, что не замечает ее взглядов, а однажды даже демонстративно отвернулся.

Еще раз встретился с ее взглядом уже на подходе к базе. Она нарочно задержалась. На этот раз ее взгляд выражал смущение и растерянность. Она что-то хотела сказать, но Кунгуров опередил ее.

— Ох, сейчас и пожрем, — нарочито грубо сказал он и пробежал мимо, объясняя по-своему ее растерянность и смущение: прикидывается, а возможно, и на самом деле смущена, осуждает себя за легкомысленное поведение. «Ласковый мой... любимый...» — сказала же такое. Да, своей готовностью любить его она произвела совсем обратное действие. Теперь, утром, это было ему особенно ясно. Впрочем, если даже она и искренна в своем чувстве, то все равно не время для семьи.

На этом Кунгуров прекратил свои раздумья и с этой минуты на Саню не глядел, не говорил с ней, если даже и оставался наедине, и взглядом скользил так же безразлично, как если бы глядел на рядовую сосенку в глухом хвойном лесу. И Саня, конечно, поняла, что та единственная ночь их сближения оказалась для нее случайной и кончилась там же, в тесной халупке. Вскоре Саня перебралась в другой отряд, и Кунгуров забыл ее.

Но что удивительно, вспомнил, когда прошло много лет, когда он уже достиг положения старшего инженера партии, был женат и, согласно плану, имел ребенка, — так вот, он вспомнил Саню совсем неожиданно для себя. Сидел дома, от нечего делать читал Чехова и натолкнулся на рассказ «Шуточка», и когда прочитал: «...как ветер доносил до нее слова «я вас люблю, Наденька», вдруг вспомнил маленькую халупку, вспомнил, как хлестал ливень, и жаркий шепот: «Ты любишь меня?» — «Да, да...» — «Ласковый мой... любимый...»

Так никто никогда больше его не называл — любимый. Никто. Никогда.

В этот день он крепко поругался с женой. Кричал:

— Ты вышла замуж за меня только потому, что я был старшим инженером! Ни разу не назвала любимым! Черт тебя побрал бы! Зачем

ты выходила за меня замуж, если не любила?..— и еще много всяких слов, и справедливых, и несправедливых, выкрикивал он, но от этого легче ему не становилось.

## ДЛИННЫЙ СОН

Что это? Неужели действительно Валя Будько думает обо мне, помнит, ищет в жизни и каждый раз находит меня во сне? Но начинается сон не с нее. Это потом она придет. А начало такое: я иду по шпалам. Впереди бесконечный рельсовый путь. По сторонам от дороги — густым сплошьяком темный лес. Дорога идет на подъем. Оттуда мчится поезд. Но нет, всего один паровоз, без состава. И я с ужасом вспоминаю, что отстал от своего поезда. Он увез мои вещи. Я машу рукой, чтобы паровоз остановился, и умоляю машиниста подвезти меня до ближайшей станции. И вот уже станция, и я бегу по платформе к кассе. Возле нее толпа, и никак не пробиться к окошечку. Тогда я бегу к начальнику вокзала, но вместо него разговариваю с торговкой яблоками. Она показывает, где стоит мой поезд. Он далеко. Я бегу к нему, ныряю под составы с товарными вагонами, несусь по туннельным переходам — и опаздываю. Мелькает последний вагон. И я один в степи. Ужасное одиночество и тоска охватывают меня. И в небе беспроблетно. Ветер.

— Ну куда ты все исчезаешь?

Рядом со мной высокая красивая женщина. Она на кого-то очень похожа, но я никак не могу вспомнить, на кого. Мы смотрим друг другу в глаза и смеемся. Ее руки в моих руках.

— Ты не узнал меня?

— Нет...

— Как же ты мог забыть Крестцы?

И я тут же вижу девочку с большими синими глазами и толстыми короткими косичками. Мы тогда были на большой площади, в центре ее возвышался белый храм, и рядом с нами стояли мальчики и девочки. И она, чуть отставив ногу, чертя носком по земле, сказала: «Куда бы ты ни уехал, я все равно найду и выйду за тебя замуж».

— Значит, это была ты?

— Я же сказала, что найду тебя. И нашла.

— Но я немолод. Прошло столько лет...

— Это не имеет значения. Прыгай.

Оказывается, мы стоим на краю крыши высоченного дома.

— Вот, смотри.— Она плавно взмахивает руками и начинает летать.— Не бойся,— и зовет меня к себе. И я прыгаю «солдатиком». На мгновение захватывает дух, но я тут же напрягаю тело, упруго

машу руками, как крыльями, и начинаю парить. И вспоминаю, что уже не раз вот так летал и всегда мне было приятно, но сейчас особенно. Мы летаем долго, то приближаясь друг к другу, то отстраняясь. А потом идем полевой дорогой. Смеемся, оба счастливые, радостные. Я срываю цветы, отдаю ей. У нее уже целая охапка васильков.

— Ну куда так много,— смеется она и кладет мне на голову венки из васильков.

— Нет-нет, лучше тебе.

— Но я еще могу один сделать и для себя. Тут так много цветов... Послушай, а как же твой поезд и вещи?

И я тут же увидел, как мимо нас медленно-медленно идет мой поезд и какой-то усатый человек показывает в окно мой чемодан. Я бегу за ним, прошу, чтобы он выбросил его, но он смеется и свободной рукой манит меня к себе. И тут я ловлю себя на том, что не помню, как зовут ту девочку с толстыми короткими косичками. И от этого мне становится тревожно. А поезд уходит все дальше. И у окна никого уже нет.

— Меня зовут Валя Будько,— говорит красивая женщина и ласково-нежно глядит на меня.

— Да-да, я вспомнил. Тебя зовут Валя Будько. Конечно же, Валя Будько! Слушай, неужели ты всю жизнь помнила обо мне? Всю жизнь!

— Это не так уж трудно, если любишь. А ты разве не вспоминал меня?

— Вспоминал.

— Я знаю. И тебе было грустно.

— Откуда ты знаешь?

— Мы, женщины, все знаем.

Она встряхнула головой, и волосы у нее рассыпались. Они были до земли, волнистые, цвета черного золота. Я хотел их коснуться. И вдруг увидел себя рядом с женой.

— Как тебе не стыдно! Я тебя жду целый день, а ты где-то пропадаешь,— говорит она.— Идем отсюда.

И я иду. Почему я так безропотно подчиняюсь ей? Откуда у нее власть надо мной? По какому праву? Я всю жизнь работаю, содержу семью. Должен бы я быть главным, но вот покорно иду.

Когда мы были молодыми, то часто ссорились. Доходило до того, что еще чуть-чуть, и разойдемся. Но этого «чуть-чуть» нам всегда не хватало. И после двух-трех часов пустой, страстной, всененавидящей ссоры внезапно мирились. И какое это было блаженство, когда прощали друг друга, и обнимались, и я глядел в ее глаза, гладил лицо, шею. И любил ее. Какое это было счастье! Теперь этого нет. Теперь мы не ссоримся и нет причин мириться.

Опять степь. Пустое, голое поле до самого горизонта. Я стою у большого камня.

— Ну, идем же! Ты рад каждому случаю задержаться.

— Я не видал еще ни одного мужчины, который бы подчинил себе женщину. Он может ее убить, но подчинить не в силах. Порой мне кажется, что все женщины в сговоре. Они знают что-то такое, чего нам не дано знать. Они только и думают, чтобы подчинить нас. И тут бы их надо ненавидеть, но мне почему-то их жаль.

— Ну, идем же, идем!

Опять степь. Но уже другая. По ней в бесконечность уходит железная дорога. Поезда нет. И вещей моих нет. И я бегу. Но знаю — мне не убежать. Да и зачем? Моя жена не лучше и не хуже других жен. Это ведь только вначале, когда еще они недоступны, у них такой звонкий, радостный смех, будто в горле колокольчик. За один только смех можно полюбить и отдать все. И отдаешь самое дорогое — себя. И как только отдал, так тут же смех пропадает, словно его никогда и не было. И начинается совсем не то, о чем мечтал, чего ждал. Вот тогда и вспыхивают ссоры. Иногда я взрываюсь, нападаю на нее. Она внимательно глядит на меня, определяя, насколько это серьезно. Если не очень, то тут же идет сама в атаку. Если же всерьез, то принимает покорный вид и исполняет то, чего я требую. Но только на какое-то время. Пройдет немного, я успокоюсь, и она опять все поставит на свои места.

Я бегу к своему поезду. Наконец-то он появился!

— Ну что ты все исчезаешь? Зачем? Ведь все равно я тебя найду. Потому что ты мой. Навсегда мой. — Валя Будько обхватывает мою шею тонкими, теплыми руками и целует в губы. И это такое блаженство, какого я никогда не испытывал. Мне так хорошо! Я смотрю ей в глаза и плачу от счастья... И тут просыпаюсь. И понимаю, что все это сон. И закрываю глаза в надежде, что сон продлится. Но он уже ушел. И такое ощущение, что только что ушла от меня Валя Будько... Почему она приходит в сновидениях? Неужели действительно с тех далеких детских лет полюбила и не находит покоя? А может, это любовь ищет меня?

Я слышу, как жена хлопчет на кухне, готовя завтрак. Седенькая, маленькая, она появляется в дверях.

— Ты еще не встал?

— Сейчас встану.

Она садится на край постели, я подбираю ноги, чтобы ей было удобнее.

— Сегодня видела странный сон, будто ты ушел к другой женщине. Я бегала, звала тебя, но ты даже не оглянулся. Как я плакала! Проснулась вся в слезах...

— Приснится же, — не сразу говорю я.

— Да, ужасный сон, — она задумывается и, похоже, вспоминает все, как было в ее сне.

А я вспоминаю свой сон. Думаю о Вале Будько, о том, что она уже не в первый раз приходит ко мне и, надеюсь, не в последний.

1978

## В ТИШИ

Все здоровые, сильные уехали за двадцать километров на сенокос, и в деревне стало пусто и тихо. И на всем Чудском не было ни одной рыбацкой лодки. Все стояли, уткнувшись в песчаное побережье. И вода была тусклой, неподвижной, размазанной светом на широкие светлые и темные полосы.

К вечеру на улицу стали выходить старухи и старики. Они садились на лавочки возле своих домов, отдыхали, положив тяжелые руки на колени. Чудское и в этот час было по-прежнему неподвижно. Легко, как восковые, сидели на воде чайки. Солнце клонилось к закату. И чем ниже оно опускалось, тем все плотнее водная даль сливалась с сиреновой небесной мглой. И от этой умиротворенности в природе на сердце становилось спокойно и ни о чем не хотелось думать, а только глядеть бы, как величаво и медленно идет вечер к ночи.

— Уже десять, — сказала жена, садясь рядом на ступеньку. Она взяла меня под руку и прижалась щекой к моему плечу, и затихла, покоряясь вечернему состоянию. — Как тихо... — И от ее слов тишина стала еще глуше.

В этой деревне мы оказались случайно. Раньше и не знали о ней. Ехали на автобусе наши знакомые, увидали из окна Чудское озеро, желто-песчаные дюны, диковатое побережье, в восторге рассказали нам, и мы поехали на все лето, потому что нам изрядно поднадоели дачные места с ревом транзисторов, с ночными кострами и громкими криками «туриков», со всем тем беспокойным, что принесло в пригороды последнее время.

И вот сидим у порога старой избы. Хозяйки нет. Она живет у сестры в другой деревне. И мы довольные, что одни, никому не мешаем и никто нам не мешает.

Здесь, в этой тиши, мы уже больше месяца. Нельзя сказать, чтобы жизнь людей открылась мне. Кое-что я вижу, узнал, но многое еще скрыто. Впрочем, я не стремлюсь узнавать, как живут здесь люди. И вообще, с тех пор как вышел на пенсию, все больше становлюсь бездейтельным и все больше созерцательным.

Если идти вправо от моего дома, то выйдешь к мысу. Он далеко врезается в озеро, усыпанный большими камнями. На мысу одинокий дом, несколько деревьев, колодец с журавлем и старик в валенках. Ему грозит никотинная гангрена.

— Курить надо бросать.

— Э, мил человек,— ответил он мне,— да разве ее, заразу, бросишь. Да и не в ней дело, знать, смерть подступает. Хватит, пожил. Нагрешил вволю.

Он сидел на корме лодки и глядел вдаль на Чудское. По озеру бесконечными накатами шли небольшие волны. Иногда то тут, то там вспыхивали белым огнем их гребни, и снова все озеро становилось одноцветно-серым.

— Чем же вы нагрешили? — спросил я.

— А многим. Одной рыбы загубил тысячи. А за все, и за нее, ответ придется держать. Никуда не уйдешь. Тогда-то не понимал, а теперь знаю. К тому иду... Рыбак я был. Это теперь запреты, а ране где хошь ставь сети и переметы. Хорошо рыбы брали. Угорь попадал. Ну, судак само собой. Сиг. Снетка в Псков возили. Никаких таких моторов не было, на веслах ходили. Верст за пятнадцать — двадцать. Иной раз так прижимало, что небо с овчинку казалось. Николу-спасителя призывали. Зато и рыбы попадало. Я все места знаю, где каменные гряды, где травяное дно, где ключ бьет, где яма. Острогой на нересте щук брал. Теперь запрет. А у нас испокон веков велось щуку колоть. И всегда хватало ее. Ну а тут, значит, нельзя. А все равно колют. Иначе как ее достанешь? Приедут с рыбнадзора браконьеров ловить, а берег-то вон он, ровный, что твой стол. Начнут наши мужики бегать, остроги бросать, прятаться. Да где ж там, все не укроются. Пымают одного, другого, акты на них, штраф. Ну, остроги поломают. Рыбу, само собой, заберут. С тем и уедут. Каждый год так борются. Рыбки-то всем хочется. А ее все мене. И не в остроге дело, а в колхозе рыбацком. Вот где вред. Понаставят сетей, мережей в самый нерест, так когда вынают снасти, вся палуба на катере в щучьей икре. По лодыжку бывает. Щука-то, прежде чем угаснуть, икру сбрасывает...

— А чего ж вы не заявите?

— Будто не знаешь чего? Кто нас послушает? Никто мы для них.

— Ну, это вы напрасно.

— Да мне теперь все равно. Я так считаю — если дотяну до зимы, так и ладно. Зиму уж не осилить. Сейчас-то ноги стынут, хоть и в валенках. А там подавно околею.

— Так курить-то не надо.

— То не от курева. Так уж на роду написано. Да и хватит, потоптал землю, погрешил. Пора и отчет давать.— И такой усталой безнадежностью повеяло от его слов, что сам по себе разговор затих.

Откуда-то долетел ветерок, старые липы слабо зашелестели округлой, как детские ладошки, листвою. Стало прохладнее, и жена теснее прижалась ко мне.

— О чем ты думаешь? — спросила она.

— Ни о чем...

— Тихо...

Да, вечер все больше уходил в тишину и покой, становясь вечностью. И почему-то думалось, что вот так же давно-давно, сотни лет назад, смотрел какой-то человек на такое же угасающее небо и на безмолвие воды и, наверно, испытывал то же состояние своей незначимости, как и я теперь, перед этим громадным и таинственным миром. И виделся мне тот человек неподвижным, как окаменелость.

Медленно, опираясь на палку, согбенно прошел мимо нас сосед, старик лет восьмидесяти. Он поднялся на песчаный холм и стал смотреть в сторону заката. Несколько дней назад он похоронил жену. И вот так же, после похорон, взошел на холм и долго смотрел на Чудское, опираясь на палку. О чем он думал? Не знаю. Но я, глядя на него, подумал о деревенской жизни. О том, что в деревне все на виду, все на глазах. Рождаются, растут, женятся, обзаводятся детьми, стареют и умирают. Естественный круг. Но в деревне он обозначен неумолимо. Вот так же, как умерла старуха и лежала в гробу и к ней стекались все ее бывшие подруги, ставшие старухами, и старики, когда-то бывшие парнями, ее одногодки, так и все они по очереди завершат свой круг, и к каждому из них будут стекаться остальные, зная, что и их ожидает то же. В городе смерть незаметна, в деревне — на виду.

До выхода на пенсию мне некогда было задумываться о многом, не имевшем прямого отношения к работе. Но вот теперь стал думать. Задумался и о том, что такое разум — добрый подарок природы или наказание человеку? Ведь если бы не сознавать, что смерть неизбежна, что непременно умрешь, то какая была бы в неведении этого счастливейшая жизнь! Даже осознания старости не было бы. Жил бы и жил человек бездумно, как птица... Но вот знаешь, и становится не по себе от таких дум.

Грустные мысли навевают деревенский вечер с его безлюдьем и тишиной. Ощущение такое, что те, кто уехал на сенокос, никогда не вернуться в деревню...

Жена пошевелилась и еще теснее припала к моему плечу. Самое родное, самое близкое мне теперь. Все, что было лучшего и прекрасного в любви, связано с нею. Встретил ее молодую, красивую и влюбился. И счастлив был, когда узнал, что и она любит меня. И вот прожита жизнь. Случалось, ссорились, сердились друг на друга, угрожали разводом, а теперь даже и не вспомнить из-за чего. Впереди осталось не

так уж много, по крайней мере несравнимо меньше, чем прожито. Да и то что ждет впереди, не сулит радостного будущего... Ах, если бы у нас были дети! Какое это было бы счастье! Но по молодости не хотелось обременять себя, связывать. Когда захотели, было уже поздно. А если бы дети были, какой бы это был большой дополнительный смысл и жить и действовать. Теперь же бесцельное доживание. Поэтому все куда-то тянет, в какие-то иные места, где, думается, что-то ожидает нас радостное, но нет, нигде и ничто нас не ждет. Мы будем везде одиноки и похожи, без детей, на эту опустевшую деревню.

Солнце тяжело опускается в мглистую тучу. Синее земля. Озеро становится совсем тихим и темным.

— Поздно уже,— говорит жена.

— Да. Пора спать...

На августовском черном небе ярко разгораются звезды. С полей тянет прохладой. И почему-то невольно вспоминаются слова старика: «За все придется ответ держать...»

1977

## СОДЕРЖАНИЕ

Раскопельские камни . . . . .	3
Случай на Чудском озере . . . . .	8
Репей . . . . .	17
Любовная история . . . . .	24
Путешественник . . . . .	29
Народный музей . . . . .	32
Единственная ночь . . . . .	35
Длинный сон . . . . .	40
В тиши . . . . .	43

**Сергей Алексеевич ВОРОНИН**

**РАСКОПЕЛЬСКИЕ КАМНИ**

Редактор Ю. С. Новиков

Технический редактор О. Н. Ласточкина

---

Сдано в набор 23.05.83. Подписано к печати  
21.07.83. А 02739. Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».  
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд.  
л. 2,99. Тираж 100 000 экз. Изд. № 1886.  
Заказ № 775. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской  
Революции типография газеты «Правда»  
имени В. И. Ленина. 125865. ГСП, Москва,  
А-137, ул. «Правды», 24.



## **ДЛЯ ВАС, КНИГОЛЮБЫ!**

Во всех книжных магазинах и киосках продаются билеты Всероссийской книжной лотереи.

Вероятность выигрыша достаточно велика: из каждых 200 билетов 69 выигрышных.

Стоимость билета 25 копеек, а сумма выигрыша заранее обозначена на внутренней стороне запечатанного билета: 50 копеек, 1, 3 и 5 рублей.

По выигрышному билету можно приобрести по своему выбору книгу или другие товары из наличного ассортимента книжного магазина или киоска на территории РСФСР.

Прочитанные книги вы можете продать книжным магазинам. Этим вы окажете добрую услугу другим книголюбам.

**Желаем удачи!**

**Росглавкнига.  
Дирекция Всероссийской книжной  
лотереи.**